

НИКОЛАЙ ГЕЙНЦЕ

САМОЗВАНЕЦ

Отставной корнет Николай Савин

Николай Гейнце

Самозванец

«Public Domain»

1898

Гейнце Н. Э.

Самозванец / Н. Э. Гейнце — «Public Domain»,
1898 — (Отставной корнет Николай Савин)

«Стояло чудное утро половины мая 1887 года. В торговой гавани «южной Пальмиры» – Одессе – шла лихорадочная деятельность и господствовало необычное оживление: грузили и разгружали суда. Множество всевозможных форм пароходов, в металлической обшивке которых играло яркое смеющееся солнце, из труб там и сям поднимался легкий дымок к безоблачному небу, стояло правильными рядами на зеркальной поверхности Черного моря...»

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	8
III	11
IV	14
V	17
VI	20
VII	23
VIII	27
IX	31
X	34
XI	38
XII	42
XIII	46
XIV	50
XV	54
XVI	57
XVII	60
XVIII	63
XIX	66
XX	71
XXI	75
XXII	80
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Николай Гейнце

Самозванец

Часть первая

По тюрьмам

I

Таинственный пассажир

Стояло чудное утро половины мая 1887 года. В торговой гавани «южной Пальмиры» – Одессе – шла лихорадочная деятельность и господствовало необычное оживление: грузили и разгружали суда. Множество всевозможных форм пароходов, в металлической обшивке которых играло яркое смеющееся солнце, из труб там и сям поднимался легкий дымок к безоблачному небу, стояло правильными рядами на зеркальной поверхности Черного моря.

Самая людская работа, шедшая в гавани, вносила какую-то бросающуюся в глаза дисгармонию в поэтическую картину. Потные, почерневшие от угольного дыма и загара лица рабочих, их сгорбленные под тяжестью нош спины, грубые резкие окрики, разносившиеся в прозрачном, как мечта, воздухе – все говорило о хлебе и нужде, о грубости среди этих роскошных красот природы, под этим нежно голубым небом.

В гавань только что вошел пароход «Корнилов», совершавший прямые рейсы между Константинополем и Одессой, и остановился в ряду других пароходов.

На пароходе поднялась та суматоха, которая всегда сопровождает прибытие судна на конечную пристань. Пассажиры, которых было на этот раз очень много, собирали свои пожитки или же просто бесцельно слонялись взад и вперед, чтобы укоротить время до выпуска на землю, время, которое должно пройти в исполнении портовых формальностей.

Но кроме этого интереса, обычного для всех заграничных путешественников, пассажиры «Корнилова» были заинтересованы присутствием на их пароходе «невольного путешественника» в лице красивого, статного, атлетически сложенного и щегольски одетого пассажира, ехавшего из Константинополя в сопровождении каваса русского консульства – смуглого арнаута с ястребиным носом и необычайно длинными черными усами.

Пассажир занимал отдельную каюту, редко выходил на палубу, а если и появлялся там, то был молчалив и сосредоточен и никому из остальных пассажиров не пришлось с ним заговорить, если не считать нескольких пророненных им слов с некоторыми из его товарищей по путешествию.

Таинственный путешественник несколько более других говорил с капитаном парохода, но последний тоже не был из людей особенно общительных.

Говорили, что это русский, выдававший себя за границу за потомка Бурбонов и в этом качестве объявивший себя претендентом на болгарский престол, остававшийся вакантным после случившегося недавно не совсем добровольного отъезда из Болгарии принца Александра Баттенбергского.

Вопрос о том, действительно ли «красавчик» был русский или принятый за такового только по ошибке решен окончательно не был; мнения пассажиров разделились: дамы были на стороне признания его чистокровным французом, понятие о котором в дамском уме соединяется с идеалом галантного, мужественного, сильного телом и духом красавца, а к такому идеалу, по мнению пароходных дам, подходил «таинственный пассажир».

Беглый, совершенно чистый французский язык, которым говорил «красавчик», хотя при случае изъяснявшийся очень хорошо по-русски, подтверждал в глазах дам их мнение.

– Просто наши русские власти опростоволосились, – легкомысленно щебетали дочери Евы. – Везут бедного иностранца неведомо куда, а потом начнут перед ним же расшаркиваться и извиняться.

– Посмотрите, с каким величественным, молчаливым спокойствием переносит он свою тяжелую долю. Взглянуть на него, и не останется сомнения, что в его жилах течет королевская кровь. Разве что понимают в этом наши мужчины?

«Непонимающие» мужчины были другого мнения, они стояли на почве законности и не допускали ошибки в таком важном учреждении, как русское посольство в Константинополе.

– Должно быть, тонкая штука этот молодчик. Держит себя как настоящий принц крови. Чай, просто русский прогоревший барин, лопотать по-французскому сызмальства научили, а в науках не превзошел, да и на службе не годился. Дай-де заделаюсь принцем... и заделался.

Так с иронией относился к «невольному путешественнику» прекрасный пол, но надо сознаться, что в этом отношении играло роль и ревнивое чувство, пробужденное слишком красноречивыми взглядами их жен, сестер и дочерей, бросаемыми на «красавчика».

– Куда-то теперь его повезут, бедняжку? – вздыхали дамы, когда пароход «Корнилов» уже стоял в гавани.

– Посадят молодчика за решетку! – злорадствовали мужчины.

Первой на пароходе появилась карантинная стража, которая, удостоверившись в благополучном санитарном состоянии на «Корнилове», дала надлежащее разрешение причаливать и высаживать пассажиров.

Пароход причалил к пристани, но выпуска еще не последовало. Предстоял еще жандармско-полицейский контроль.

Вскоре на пароход прибыл жандармский капитан с десятью нижними чинами и приступил к ревизии паспортов.

Эта процедура вследствие большого количества прибывших пассажиров продолжалась около двух часов, и до ее окончания никого с парохода не выпускали.

Ревизия паспортов происходила в кают-компании парохода, обращенной в канцелярию.

Пассажиры толпились в ней, и, несмотря на то, что каждый из них думал о скорейшем наступлении момента выпуска, взоры их все же от жандармов невольно переносились на сидевшего в углу кают-компания «таинственного пассажира», казалось, безучастно относившегося ко всему вокруг него происходящему.

Вдруг в толпе пассажиров пронесся шепот.

– Его превосходительство прибыл, его превосходительство!

Жандармский капитан и нижние чины подтянулись. Капитан парохода бросился встречать одесского градоначальника, явившегося самолично на пароход.

– Это за ним! – вздыхали дамы.

– Должно, важная птица этот молодчик! – умозаключали мужчины.

Адмирал Зеленый вошел в сопровождении одесского полицмейстера и начальника порта.

– Где Савин? – задал он вопрос встретившему его капитану парохода.

Не успел капитан ответить, как таинственный пассажир встал и, медленно пробравшись сквозь толпу, подошел к адмиралу.

– Вы спрашиваете обо мне, ваше превосходительство?

– Это вы Савин?.. – спросил градоначальник, оглядывая его с головы до ног.

– Нет, я не Савин, а граф де Тулуз Лотрек, но по ошибке русского консула в Константинополе арестован и препровожден сюда под этим не принадлежащим мне именем, почему считаю нужным заявить об этом вашему превосходительству, прося рассмотреть идущие со мной документы, а по рассмотрении их меня освободить.

– Так значит вы отрицаете ваше тождество с корнетом Савиным и требуете вашего освобождения?

По губам адмирала проскользнула ироническая улыбка.

– Я требую только справедливости.

– Справедливости!.. Может быть... Справедливость – хорошее слово. Но ее окажут вам другие. Я на это не уполномочен. Я должен поступить с вами, как мне поручено из Петербурга и пока принужден отправить вас в тюрьму.

Ни один мускул не дрогнул на красивом лице «таинственного пассажира». Он молча, с достоинством поклонился.

– Полковник, – обратился адмирал Зеленый к стоявшему рядом с ним полицеймейстеру, – отвезите сейчас же под усиленным конвоем «его сиятельство» в тюремный замок и поступайте с ним, как я уже вам говорил.

Градоначальник особенно подчеркнул титул «пассажира», а затем, повернувшись, стал разговаривать с жандармским капитаном.

– Поедьте, – обратился к «таинственному пассажиру» вполголоса полицеймейстер, – я уже приказал ваши вещи снести в карету.

Пассажир спокойной, уверенной походкой, с гордо поднятой головой последовал за полицейским офицером.

При выходе с пристани его усадили с двумя околоточными надзирателями в карету, по бокам которой ехали два полицейских верхами; полицеймейстер же ехал впереди на своей паре.

Этот торжественный поезд, везший, если верить рассказам пассажиров парохода, «недавнего претендента на болгарский престол», проследовал через всю Одессу на Куликово поле, где, невдалеке от вокзала железной дороги, высились мрачные стены одесского тюремного замка.

Железные ворота замка открылись и поезд скрылся в них.

II Сорвалось!

Сдав арестанта смотрителю замка, полицеймейстер уехал, а нового тюремного обитателя тотчас же отвели в секретную одиночную камеру, в отделение тюрьмы, предназначенное для политических преступников.

Это была тюрьма в тюрьме, которой специально заведовал старший помощник смотрителя, а обязанность надзирателей исполнялась жандармами.

Помещалось это отделение в самом конце тюремного двора и представляло из себя отдельный одноэтажный корпус, в котором было до двадцати одиночных камер.

В одну из них и заперли «претендента».

Мертвая тишина царила в этом тюремном каземате, и кроме двух жандармских унтер-офицеров, сменяющихся каждые шесть часов, заключенный не видал никого первые два дня.

Наконец на третий день к нему явился помощник смотрителя.

– Почему меня держат тут в отделении политических? – спросил его арестант. – Кажется, я ни в каких политических, преступлениях не обвиняюсь?

– Не знаю, – отвечал помощник смотрителя, – таково распоряжение градоначальника.

– На каком же основании вы меня содержите? По чьему постановлению?

– Никакого постановления на ваше содержание у нас нет, а держим вас потому, что вас привез полицеймейстер с приказом содержать вас в политическом отделении со всевозможной строгостью.

– Но это совершенно противозаконно, мне кажется, что с введением судебных уставов никто не может быть арестован без надлежащего постановления о том, исходящего от судебной власти, так что содержание мое в тюрьме я считаю совершенно противозаконным.

– Уж, право, не знаю, – заметил помощник смотрителя, – если вы недовольны и признаете себя неправильно арестованным, жалуйтесь прокурору.

– Конечно, мне ничего не остается делать, как обратиться за защитой к прокурору, а потому и прошу вас дать мне бумаги и письменные принадлежности для написания этой жалобы.

В тот же вечер арестованный написал прошение прокурору одесского окружного суда, в котором изложил всю неправильность его ареста в Константинополе и содержания в тюрьме и просил его, сделав дознание, освободить его из-под стражи.

После подачи этого прошения прошло с неделю, и заключенный уже терял всякую надежду на какой-нибудь результат, как в одно прекрасное – если в тюрьме может быть что-нибудь прекрасное – утро дверь его камеры отворилась, и к нему вошел помощник смотрителя с каким-то господином, одетым в штатское платье.

Заключенный встал с железной кровати, на которой лежал.

– Я прокурор здешнего окружного суда, – отрекомендовался вошедший с помощником смотрителя. – Прощение ваше я получил и счел своим долгом повидать вас. Вы находите ваше содержание под стражей незаконным?

– Совершенно верно, господин прокурор, меня содержат здесь по какому-то произволу административных властей, и я прошу вашего заступничества.

– Но вас принимают за некоего Савина, который разыскивается петербургским и калужским судами. Значит, на арест этого лица существует постановление судебных властей.

– Прекрасно, господин прокурор, на арест Савина, может быть, и есть законное основание, но отнюдь не на содержание под стражей графа де Тулуза Лотрек, а я именно и есть то самое лицо, каким себя именую.

– Чем вы докажете, что вы граф де Тулуз Лотрек, а не Савин? Можете ли вы указать на лиц, могущих это удостоверить?

– Здесь, в Одессе, я, никого не знаю, но в других местах, конечно, найдется масса лиц, знающих меня.

– Так укажите на этих лиц и места их жительства, а я распоряжусь вас немедленно отправить для удостоверения вашей личности.

– Мне кажется, что это совершенно лишнее, когда у меня есть все необходимые бумаги и формальный паспорт, удостоверяющие кто я такой, и если желают проверить подлинность этих документов, то достаточно, мне думается, телеграфировать тем официальным лицам, которые их выдали, начиная с русского консула в Триесте господина Малейна, который меня лично знает и подтвердит не только подлинность выданного им мне паспорта, но и опишет мои приметы, что докажет, что я именно то лицо, за которое себя выдаю.

– Видите ли, граф, написать, даже телеграфировать консулу в Триест я могу, но это не приведет ни к чему. Что бы ни ответил мне консул, я не в праве вас освободить, так как вы арестованы не судебными властями одесского округа, а препровождаетесь только через Одессу в Петербург. Значит и освобождение ваше зависит от петербургских властей, предписавших арестовать вас в Константинополе. Если вы не Савин, то вас по прибытии в Петербург немедленно освободят, а поэтому мой вам совет, просить о скорейшем вашем туда отправлении.

После этого визита прокурора, лопнула последняя надежда Николая Герасимовича Савина – это был действительно он – на освобождение, и ему оставалось терпеливо ждать отправки далее.

День этой отправки наконец настал.

До самой последней минуты от Николая Герасимовича ее почему-то держали в секрете. Он не знал, когда и каким образом его отправят, и на все его вопросы по этому поводу ему отвечали незнанием.

Какая была цель тюремного начальства скрывать от него это – неизвестно, но ему сказали, что он отправляется с отходящим этапом только за полчаса до его отправления.

Это было в последних числах мая. Савин уже спал, так как было около десяти часов вечера. Вдруг дверь его камеры отворилась, и к нему вошел помощник смотрителя.

– Вставайте, граф, и забирайте ваши вещи, сейчас вы отправляетесь.

– С кем, каким образом? – спросил его Николай Герасимович, протирая заспанные глаза.

– Этапным порядком, с партией, отправляющейся в Киев.

Уложив наскоро все имевшиеся при нем вещи в маленький ручной чемодан, Савин отправился в контору.

Перед воротами, по лестнице, ведущей в контору, и в самой конторе толпилось человек до ста арестантов в длинных серых халатах, с узлами и мешками в руках и у ног.

Некоторые из них были в кандалах и с бритыми наполовину головами.

Николай Герасимович впервые видел вблизи такую массу арестантов, и на него произвело это зрелище крайне тяжелое впечатление.

В конторе, освещенной двумя керосиновыми лампами, толпились арестанты и солдаты.

За длинным столом сидели начальник тюрьмы, конвойный офицер, принимающий партию, и писарь.

Перед ними лежала кipa бумаг – статейных списков, по которым они вызывали арестантов.

Каждый арестант по вызову подходил к столу, где имя его и назначение, куда он следовал, проверялось по статейному списку, а затем унтер-офицер брал арестанта и, передавая его тут же стоявшему ефрейтору, кричал:

– Обыскать и наручники!

После этого несколько человек солдат тщательно обыскивали каждого переданного им арестанта, осматривали его вещи и затем накладывали на людей попарно наручники, так что правая рука одного была связана с левой рукой другого.

От этой последней меры освобождались все принадлежащие к привилегированному сословию, нижние чины, женщины и кандалычники.

На остальных же всех без исключения и разбора, независимо от того, за что и про что они арестованы и к какой категории принадлежат, то есть пересыльные или подследственные, надевали наручники.

Сидя в темном углу конторы, Николай Герасимович с немим ужасом глядел на эту тягостную картину, ожидая своей очереди.

Когда наконец партия была принята и все арестанты вышли из конторы, к нему подошел смотритель с конвойным офицером.

– Вас также надо принять, – сказал ему последний, – покажите мне ваши вещи.

Савин открыл ему свой чемоданчик.

– У вас ничего тут нет запрещенного?

– Кажется, ничего такого нет, но я не знаю, что вы называете запрещенным?

– Ножей, орудий, карт, водки, – сказал, улыбаясь, конвойный офицер.

– Нет, ничего подобного у меня нет.

– Записать: гвардии корнет Николай Савин, в Петербург, в своем платье, – сказал штабс-капитан писарю. – Мне поручено, – обратился он снова к Николаю Герасимовичу, – иметь строжайший надзор за вами, о чем я считаю долгом вас предупредить. Надеюсь, что вы как офицер, поймете меня и не заставите меня брать против вас какие-либо меры, которые были бы неприятны как для вас, так и для меня. Я вполне сознаю, что для вас такое положение крайне тяжело, но что же делать, надо подчиняться. С моей стороны я все сделаю, что от меня зависит, чтобы облегчить ваше положение, но прошу вас подчиняться уставным правилам.

С этими словами он пригласил Савина выйти из конторы и вышел вслед за ним сам в сопровождении смотрителя.

Партия была уже выстроена во дворе тюрьмы, тускло освещенном двумя фонарями.

– Шашки вон, шагом марш! – скомандовал штабс-капитан.

Ворота растворились, и партия, звеня кандалами в ночной тишине, под темно-синим небом южной ночи, двинулась по направлению к вокзалу, находившемуся в нескольких шагах от тюрьмы.

III

В арестантском вагоне

Когда партия прибыла на вокзал, арестантские вагоны были уже поданы и арестантов немедленно рассадили по ним.

Для Николая Герасимовича Савина, по приказанию конвойного офицера, отвели отдельную лавку в вагоне, где помещалось офицерское отделение.

Арестантские вагоны своим устройством ничем не отличаются от обыкновенных вагонов третьего класса, и одни только железные решетки в окнах, да часовые, стоящие у дверей, показывают их назначение.

Товаро-пассажирский поезд, с которым отправлялась партия, уходил из Одессы в двенадцать часов ночи, так что ждать на станции пришлось около часу.

Этим временем воспользовались арестанты, чтобы достать кипятку и купить съестные припасы, после чего началось чаепитие.

В этом солдатики конвойной команды очень услужливы и не отказывают арестантам ходить на вокзал за покупками и кипятком.

Вообще русский солдат, несмотря на суровую, грубую внешность, имеет доброе сердце, и оно-то во многом облегчает участь тех несчастных, которые бывают ему вверены.

По размещении арестантов по вагонам, солдатики обращались с ними уже более гуманно: сняли наручники, услуживали чем могли и разговаривали без всякого принуждения, не изображая из себя начальства.

За чаепитием начались разговоры, рассказы, кто куда следует.

В вагоне, в котором находился Савин, помещались большей частью пересыльные арестанты.

Арестанты разделяются на категории: каторжных, бродяг, ссыльных и пересыльных.

К последней принадлежат все лица, пересылаемые по требованию судебных и административных властей, беспаспортные, а также приговоренные уже к наказанию и отсылаемые к месту заключения в тюрьмы или арестантские роты.

Как только поезд тронулся, в вагоне все преобразилось.

Сидевшие до тех пор чинно арестанты поснимали с себя ужасные серые с бубновыми тузами халаты, растворили окна и стали весело и шумно разговаривать между собой.

Вот затянули песню, которую подхватили и солдатики.

Появился табак, водка, пронесенные украдкой и продаваемые арестантам по повышенным ценам. Так, восьмушка махорки, стоящая в продаже три копейки, продавалась по двугривенному, и полбутылки водки – шестьдесят копеек.

Конечно, этой контрабандой могли воспользоваться только имущие арестанты, большинству же приходилось с завистью смотреть на этих счастливицев.

Кроме запрещенной торговли водкой и табаком, солдаты вели также торг и съестными припасами по ценам доступным для арестантов.

У них был большой запас бубликов, сельдей, вареной печенки и печеных яиц.

На этой торговле они наживали самые пустяки, только, как они выражались, «на табачишко».

Все это Николай Герасимович узнал от подсевшего к нему во время пути унтер-офицера.

Это был разбитной малый, земляк Савина – калужанин.

– Посудите сами, – говорил он, – как нам не промышлять с арестантами. Без этого мы бы без табаку и чаю насиделись, не говоря о том, что вечно и так бываем впроголодь. Чего купишь на шестнадцать копеек.

– Ну, а начальство как на это смотрит?

– Что начальство! Оно хотя и знает, да молчит, покуда все идет исправно... Есть у нас один офицер построже, ну, когда едем с ним, немного опасаемся насчет водки, про прочие продукты и он ничего не говорит... При этом же офицере, что теперь ведет партию, что хошь тащи, только чтобы было всегда все исправно, да по прибытии на место в Киев, Одессу или Брест, чтобы ничего не было заметно, а в пути дебоширь сколько хочешь... Он сам тоже мухой-то порядочный... Ключет, да и спит всю дорогу... За его простоту не только мы, но и арестанты его ужас как любят.

– А вам часто приходится ездить с партиями?

– Да, почитай, мы все в разъездах... У нашей киевской конвойной команды три тракта: на Москву, на Одессу, да на Брест. Свезем партию в один конец, а на следующий день принимаем обратно на Киев; ну, в Киеве дня два или три отдыхаем, а затем снова в отправку.

– А всегда у вас такие большие этапы, как сегодня?

– Какой же это этап, сто двадцать человек! Бывают этапы в триста, четыреста арестантов, так что смен не хватает на посты к вагонам, и приходится солдатам стоять бессменно всю дорогу на посту. Тяжелая наша служба! – вздохнул унтер-офицер.

– Почему же вся эта служба лежит на киевской команде, а не на одесской, брестской и других?

– В Одессе конвойной команды совсем нет, ну, а брестская и московская имеют свои тракты. Брестская в нашу сторону и не ходит, она препровождает на Вильну и Белосток; московская же сдает нам этапы в Курске и принимает от нас этапы там же. Вот поедете дальше на Москву, так увидите.

– Значит и в Курске бывает пересадка?

– Нет, там мы сдаем прямо с вагонами, в Киеве же бывает отдых, и вам придется три дня дожидаться московского этапа.

– Из Киева, значит, мы с вами опять поедем до Курска?

– Да, с нашей же командой, но не с нами. Мы с теперешним офицером поедем днем раньше вас в Брест, а вы отправитесь с другим нашим же офицером, капитаном Ивановым.

Болтая таким образом, Николай Герасимович напился с унтер-офицером чаю и закусил, угостив его настоящими турецкими папиросами, имевшимися у него из Константинополя.

Куренье ему было разрешено, как в одесской тюрьме, так и конвойным офицером, и у него, к счастью, еще был запас прекрасных египетских папирос.

Именно, к счастью, потому что не будь их, Савину нечего было бы курить, так как денег при нем почти никаких не было.

При аресте его в Константинополе, у него были отобраны все документы, ценные вещи и деньги и все это было опечатано и отправлено в Петербург.

Когда же перед отъездом он стал просить консула Логовского дать ему денег на дорогу, тот ответил:

– Вам деньги ни к чему, повезут вас на казенный счет и вам все будет, об этом уже сделано распоряжение.

Действительно, распоряжение было сделано.

С Савина за перевозку денег не спрашивали, но отправили по этапу, выдавая ему на харчи «дворянский порцион», то есть пятнадцать копеек в день.

В консульстве, однако, отбирая у него деньги, оставили ему мелочь, бывшую в жилетном кармане.

Этой мелочи было: три меджидие и несколько пиастров, которые Николай Герасимович и разменял у буфетчика на «Корнилове», за что получил семь рублей двадцать копеек.

На эти деньги он мог купить себе в Одессе чаю, сахару, жестяной арестантский чайник и стакан, да пользовался улучшенной пищей во время его двухнедельного пребывания в одесской тюрьме прибавляя к получаемому им порциону по пятнадцати копеек день.

Эти расходы истощили и без того тощий его капиталец, так, что при отправке его из одесской тюрьмы Савину выдали на руки только всего рубль двадцать копеек его собственных денег, да на три дня впредь порциону – сорок пять копеек.

Вот все, что было у него в кармане при отправлении его этапом в дальний путь.

Понятно, что он не мог роскошничать, а должен был удовольствоваться покупкою яиц и бубликов у солдат, запивая дешевеньким чайком вприкуску.

IV Газетный фельетон

В том же вагоне, где находился Николай Герасимович, ехал еще один арестант из привилегированных, некий дворянин Лизаро, с которым Савин вскоре познакомился.

Сначала он не обратил на него внимания, так как Лизаро был одет в арестантский халат, но когда он снял с себя его и оказался в весьма потертом пиджаке, то этот туалет, редкий между арестантами из простых, бросился в глаза Николаю Герасимовичу, и он спросил унтер-офицера, указывая на арестанта в пиджаке:

– Кто это такой?

– А это дворянин Лизаро, тот, знаете, который на семи женах женат.

– Как на семи женат?

– Да вы разве не читали в ведомостях? Его уже судили в трех местах за это, а теперь везут еще в остальные места судить.

Конечно, такие слова унтер-офицера заинтересовали Николая Герасимовича, и он познакомился с этим семиженцем.

Лизаро был еще молодой человек лет двадцати пяти, брюнет небольшого роста, худой, с красивым, но крайне изможденным лицом.

Одет он был, как уже сказано, в очень поношенное платье, но и в этом костюме держался очень прилично: видно было, что он когда-то принадлежал к хорошему кругу.

– А я уже давно собирался к вам подойти, господин Савин, – сказал он Николаю Герасимовичу, когда тот обратился к нему с каким-то незначительным вопросом, – но совестился и боялся вас обеспокоить. В одесском замке многие вами интересовались, да уж держали вас там больно строго.

– Почему же мною интересовались?

– Да как же не интересоваться вами... Уж слишком много писали об вас в газетах за последнее время.

– Что же писали?

– Чего только не писали! И молодец же вы, господин Савин, Стамбулова и того провели!

– Так здорово меня прохватывали в газетах?

– В некоторых, не скрою, вас порядочно-таки продернули, но зато в других восхваляли и жалели, что вам не дали достигнуть задуманного. Немного еще, и вы были бы болгарским князем. Жаль, что сорвалось! Да вот у меня есть «Новороссийский телеграф», в котором говорится о вас.

Лизаро вынул из кармана засаленный номер газеты и подал его Николаю Герасимовичу.

– Тут, в фельетоне... – указал он, когда Савин развернул газету.

Николай Герасимович, давно не читавший русских газет, впился с жадностью в печатные строки.

«Еще одно последнее сказанье, – писал фельетонист, – и летопись окончена моя, но это последнее сказанье стоит всех предыдущих вместе, и вот почему я оставил его „pour la bonne bouche“ – как говорят французы. Чтобы быть знаменитостью, надо чем-нибудь выделиться из массы, умом ли, красноречием ли, хотя бы даже особо длинной фамилией, как был знаменит этим один благородный гидальго, которого звали Лаперузо-Суза-Танти-Кванти-Аликванти-Конте-Понте-Делеспонте-Вериго-дель-Компостельо. Но герой моего рассказа не отличается этим, он не обладал такой звучной и неудобно натошак произносимой фамилией, его зовут коротко и ясно – корнет Савин.

И вот этого-то Савина, имеющего какие-то счеты с нашими судебными властями и бежавшего несколько месяцев тому назад в Варшаву при транспортировании его из Бельгии в Петер-

бург, вдруг мысль великая осенила и графом де Тулуз Лотреком назвала. Достав себе надлежащий паспорт, денег и окруженный целой свитой, новый представитель старинного рода месяц спустя вынырнул в Софии. Прибыл он туда не как турист-парижанин, а как капиталист, представитель крупных парижских банкирских фирм с предложением дать болгарским воротилам – *excusez du peu* – двадцать миллионов. Такое неожиданное предложение со стороны блестящего графа, конечно, пленило сердца сидящих без гроша Стамбулова и его банды. За графом ухаживали, не зная как и чем его чествовать. Умный, обходительный, он сумел вскоре расположить всех к себе, а главное, подружился со Стамбуловым настолько, что тот души в нем не чаял. Дружба эта скрепилась еще более после крестин родившейся у Стамбулова дочери, воспитанником которой был, конечно, не кто иной, как „блестящий граф“.

Вскоре после этих крестин Стамбулов обратился к своему высокопоставленному куму с предложением – с каким вы думаете? – быть кандидатом на болгарский престол. Неожданное, но крайне лестное предложение было, конечно, принято, и воображаемый французский граф де Тулуз Лотрек – *arias* Савин – уехал в Константинополь, чтобы хлопотать и заручиться симпатиями великого визиря и влиятельных лиц, близко стоящих к будущему его сюзерену-падишаху.

Там, в Константинополе, продолжая разыгрывать роль французского миллионера, он сумел втереться к французскому послу графу де Монтебелло и настолько расположить его к себе, что тот ввел его в высшее дипломатическое общество и представил не только великому визирю, но и самому султану.

В это время Стамбулов орудовал в Болгарии: интриги, обещания, угрозы и даже знаменитые угревые шкуры подготавливали тырновское народное собрание, на котором, в силу берлинского трактата, должен быть избираем болгарский князь волею народа.

Но по воле судеб и неожиданного случая сиятельный граф был узнан, и кем же?

Далеко не сиятельным человеком, своим бывшим куафером из Москвы. Эта неожиданная встреча нанесла страшный удар и разбила не только блестящие планы сиятельного претендента, но и судьбу Болгарии. Графа, по требованию русского посольства, арестовали и увезли с надлежащим почетом в Россию. И теперь вместо того, чтобы восседать в княжеском замке на болгарском престоле, „его высочество“ находится хотя и в замке, но далеко не княжеском, а в здешнем тюремном, под замком, в ожидании отправки в Петербург. История, как видите, интересная и выходящая из ряда обыкновенных приключений, а потому наделавшая немало шуму.

Все газетные хроники переполнены самыми разнообразными комментариями в отношении этого политического Хлестакова, а потому и не могу не высказать своего мнения. Хотя корнет Савин и Хлестаков, но Хлестаков, бесспорно, гениальный, и жаль, что ему не дали доделывать задуманного, так как, во всяком случае, русские интересы на Балканском полуострове не пострадали от этого, а могли бы даже выиграть. Жаль, очень жаль, что Хлестаков-Савин не достиг своего рискованного, но гениального плана. Это бесспорно авантюрист, но авантюрист-гений».

Николай Герасимович кончил читать с самодовольной улыбкой.

– Ну что, каково? – спросил Лизаро.

– Наврал с три короба... – небрежно заметил Савин.

– Но вот, кто в дураках, так в дураках, этот ваш кум Стамбулов, – смеясь, продолжал Лизаро. – Как это он так опростоволосился? А, говорят, такой умный и хитрый человек.

– Да здесь ум не причина, разве он мог предполагать, что я не то лицо, за которое я себя выдаю, раз я был ему представлен французским консулом.

– Ну а документы ваши, паспорт были у вас подложные?

– Нет, подлинные...

Лизаро с недоумением вытаращил глаза.

- Подлинные... Как же это? – с недоумением спросил он.
- Как бывают подлинные... Очень просто! – уклончиво отвечал Николай Герасимович.

V Семиженец

– Да, ваши дела не опасны, не то что мои. Я вот человек отпетый... – заметил со вздохом Лизаро.

– Вы уже осуждены?

– Да, уже тремя судами приговорен и еду судиться еще в четырех.

– Все по однородным делам?

– Почти так, шесть обвинений в многоженстве и одно в мошенничестве.

– Это очень интересно, расскажите, пожалуйста, – заметил Николай Герасимович.

– С удовольствием. Дайте только я распрощусь с одним товарищем, он выходит здесь скоро, на станции Бирзула.

С этими словами Лизаро ушел в другой конец вагона, где он сидел с худым, высоким, уже пожилым арестантом.

Поезд вскоре, действительно, стал уменьшать ход, подходя к станции.

Как только поезд после двадцатиминутной остановки на станции Бирзула тронулся в путь, к Савину снова подошел Лизаро и, садясь рядом, весело сказал:

– Ну, вот и я являюсь к вам со своим рассказом.

Николай Герасимович весь обратился в слух.

– Уроженец я Волынской губернии, – так начал свой рассказа Лизаро. – Родители мои были небогатые помещики. Сначала явоспитывался в Киеве, в гимназии, а потом поступил в мореходную школу в Николаеве. Окончив там курс с правом на штурмана, я около года прослужил в обществе пароходства и торговли, но затем, женившись на двадцать первом году на одной очень хорошенькой барышне в Одессе, я бросил морскую службу и поступил бухгалтером в одну частную контору. Сначала мы жили очень счастливо, но вскоре пошли у нас частые ссоры.

Жена моя была страшная кокетка, а я ревновал ее, и кончилось все это тем, что в один прекрасный день она уехала из Одессы сухаживающим за нею гусарским офицером. Такая неудача в семейной жизни страшно подействовала на мою слабую, нравственно не окрепшую натуру. Я с горя запил, стал кутить, вследствие чего потерял службу. Пьянство, разгул и та среда, в которой я очутился, удручающе подействовали на меня и довели до совершеннейшего разорения и полнейшего нравственного падения. Мелкие обманы, шантажи и нечистая игра в карты служили мне единственными ресурсами к жизни в продолжение года.

В это время умер мой отец, и мне осталось после него небольшое имение в Кременном уезде Волынской губернии. Эта смерть отца и отъезд мой из Одессы меня немного отрезвили. Я понял, что возвращаться мне в Одессу и в ту среду, в которой я погряз, не следует, так что по ликвидации моих дел и продажи имения доставшегося мне от отца, я уехал жить в Киев. Но в Киеве вместо того, чтобы остепениться и начать новую жизнь, я снова предался кутежам и разгулу, так что отцовского наследства хватило мне не на долго.

Вот в это-то время, когда я проживал последние деньги, познакомился с одним семейством, некими Курносовыми. Это был старуха-мать с двумя зрелыми дочерьми. Они приехали в Киев из Полтавской губернии, где у них было имение, искать женихов. Провинциалки-хохотушки, прожившие всю свою жизнь в глухой Малороссии, наивно рассказывали всем, кто только хотел их слушать, о цели своего приезда и заманивали к себе молодых людей. Таким образом попал к ним и я. После двух-трех визитов к ним, я узнал, что за каждой дочкой давалось приданого двадцать пять тысяч наличными деньгами, да в будущем имении в тысячу десятин земли.

Лизаро остановился, перевел дух и с наслаждением закурил предложенную ему Савиным египетскую папиросу.

– Сначала мне и на ум не приходило жениться, будучи женатым. Бывал же я у них просто так, от нечего делать, и если был у меня какой-либо замысел, то только признаться у них денег и с этой-то целью я начал ухаживать за младшею дочерью Наденькой. Этой Наденьке было уже за тридцать лет и, конечно, мне было не трудно пленить ее сердце. Перезрелая хохлушка воспламенилась страстной любовью ко мне и сама стала мне намекать о браке. Будучи в крайне стеснительных денежных обстоятельствах, и, не видя другого исхода, я решился жениться на ней, конечно, только для того, чтобы получить ее приданое. Свадьба состоялась, я получил деньги и через несколько дней уехал из Киева под предлогом навестить умирающую тетку в Одессе. В Одессу я, конечно, не поехал, а отправился в Варшаву, думая оттуда пробраться за границу. Но неожиданный случай изменил все мои планы. По дороге, при пересадке на станции Казатин, сел я в купе первого класса, в котором ехал какой-то господин. Это был человек лет тридцати, но очень тучный. Эта тучность его страшно тяготила, он задыхался, пыхтел, как паровик, и страшно мучился от жары.

Познакомившись и разговорившись с ним, я узнал, что его зовут Эдуард Иванович Лейн и что он едет из Оренбурга в Брест-Литовск на службу, куда он назначен судебным следователем. Болтая с ним, я узнал также, что он одинокий человек и никого в Бресте не знает. В купе кроме нас двоих никого не было, и вот вдруг ночью, в то время, как я уже спал, слышу сквозь сон стоны. Я открыл глаза. Смотрю, мой компаньон по купе мечется на своем диване. Я вскочил, чтобы узнать, что с ним. Гляжу, а на нем лица нет, весь побагровел, глаза налиты кровью, а у рта пена. Я испугался. Когда я взял его несколько минут спустя за руку, чтобы спросить, что с ним, рука оказалась холодная – он был мертв. Сначала я было бросился к двери, чтобы позвать кондуктора, но затем мне пришла вдруг блестящая мысль – заменить мертвеца собою. Я снял с него быстро дорожную сумку, вынул из кармана бумажник, взял из него все документы и оказавшиеся до двух тысяч рублей денег, а также железнодорожный билет и багажную квитанцию и вместо них вложил в него свой паспорт, мои визитные карточки, мой билет и квитанцию и несколько рублей денег и снова положил бумажник в его карман, после чего лег спать. Уснуть я, конечно, не был в состоянии, но притворился спящим до прихода кондуктора.

Лизаро снова смолк, закурил потухшую папироску и, сделав продолжительную затяжку, продолжал:

– Томительно провел я эту страшную ночь в соседстве с мертвецом в ожидании кондуктора. Наконец, под утро дверь купе отворилась и вошел обер-кондуктор. «Ваши билеты, господа!» – сказал он громким голосом. Я вскочил и протер глаза, как будто только что проснулся, и спросил его: «Что такое?» – «Ваши билет позвольте?» – повторил он снова. Я подал ему билет, взятый мною в сумке умершего, выправленный до Бреста, и спросил его, когда мы приедем в Брест. «В девять часов», – отвечал он мне и, подойдя к толстяку, стал его дергать за рукав: «Позвольте ваш билет, господин». Но господин молчал, и когда кондуктор дотронулся до него, то отскочил от него и с ужасом произнес: «Да он умер?» – «Ужели умер!» – с деланным ужасом воскликнул я. Сбежались кондуктора, и по прибытии поезда на станцию тело покойного было вынесено из вагона и составлен протокол, в котором обозначено, что скоропостижно умер дворянин Александр Лизаро. В этом протоколе пришлось расписаться и мне, что я и сделал, подписав: «Судебный следователь второго участка города Брест-Литовска Эдуард Иванович Лейн».

С этого момента Лизаро-двоеженец умер.

Приехав в Брест, я явился по начальству, познакомился со всеми и принял свой участок. Не будучи юристом, мне было довольно трудно первое время; но когда я взял опытного письмоводителя и ознакомился с судебными уставами, дело пошло прекрасно. С первого же момента у меня созрел новый план действий послужить месяц-другой, а затем выйти в отставку

и по получении таковой уехать жить в Петербург под именем отставного надворного советника Лейна. Но снова непредвиденное обстоятельство заставило меня поступить иначе. Оказалось, что у покойного Лейна была мать, живущая в Ревеле, которая, не получая писем от своего сына, стала прямо бомбардировать меня письмами, в которых удивлялась молчанию сына и, не понимая такового, писала, что собирается к нему приехать. Это-то обстоятельство и заставило меня поторопиться покинуть Брест. Но уезжать из Бреста и не извлечь пользы из такого положения, в каком я находился, было глупо, и я придумал, как извлечь эту пользу. В остроге сидели несколько богатых евреев, посаженных еще до меня моим предшественником, и вот я выпустил их всех, взяв с них тридцат тысяч рублей залогов и с этими деньгами уехал в Петербург. На берегах Невы я жил, конечно, не под именем Лейна, а под вымышленной фамилией графа Рамбелинского, на имя которого подделал себе вид. Имея деньги и втеревшись в хорошее общество, я там женился на богатой купчихе Овчинниковой, за которую взял в приданое несколько домов. Дома я эти, конечно, заложил, а с вырученными деньгами уехал в Москву под предлогом устройства там фабрики. Фабрики я, конечно, никакой не устраивал, а кутил на славу. Писал своей жене в Петербург нежные письма, и в то же время выдавал себя за холостяка и женился в Белокаменной на зрелой, но весьма богатой княжне Туркестановой. С этой новой женой я прожил всего две недели. Взять с нее я успел только двадцать тысяч, так как приехала моя петербургская жена и нам угрожал большой скандал. Я, конечно, улепетнул.

– Однако, до сих пор вы все проделывали очень ловко... – заметил Николай Герасимович, когда Лизаро остановился. – Но что же дальше?

VI

Любовь погубила

– Сначала я хотел уехать за границу, но, не зная языков, решил остаться в России и отправился в Харьков. Там я жил по подложному документу на имя инженера Врасского и женился на вдове статского советника Рындиной. Эта жена была самая плохая, да и взял я за ней всего двенадцать тысяч. Из Харькова я направился на Волгу, жил в нескольких городах под разными фамилиями и наконец женился в Казани на дочери одного предводителя дворянства, фамилии которой я не назову, так как она через месяц после свадьбы умерла в то время, когда я жил с нею в деревне ее отца. Не умри она, я получил бы хороший куш, так как ее отец дал за нею большое имение, но я должен был дожждаться ее совершеннолетия, чтобы получить от нее доверенность на продажу и залог этого имения. Неожиданная смерть ее разрушила мои планы. Овдовев этой женой и получив от ее отца тысячонок пятнадцать, я уехал вниз по матушке по Волге и поселился под именем отставного флотского лейтенанта Новикова в Астрахани.

– Но неужели проживание под чужим именем и в России так легко? – удивился Савин.

– Легко, а главное безопасно. Если меня разыскивали мои многочисленные жены, а по их жалобам и судебные власти, то они искали разных Лейна, Рембелинского, Врасского и других, под чьими именами я прежде жил и был женат. Свежее имя меня очищало сразу, а чистый паспорт давал мне чистое поле к новой деятельности. Вам, как русскому, конечно, хорошо известны все приемы нашей полиции для розыска скрывшихся преступников и вообще разыскиваемых лиц. О розыске публикуется в «Сенатских объявлениях» да в «Ведомостях» обеих столиц. Эти публикации положительно никем не читаются, и только в одном Петербурге ведется в полицейских участках алфавитный список разыскиваемых в империи лиц. Для облегчения работы все разыскиваемые лица вносятся в разные книги по званию своему, так что есть книги для военных, для чиновников, для дворян и разночинцев. По предъявлении паспортов для прописки в участок, фамилия владельца паспорта просматривается в соответствующей книге. При этом, якобы, образцовом способе петербургской полиции могут попадаться только неопытные люди да дураки. Кто же, имея, распри с Фемидой, пойдет совать свой паспорт для прописки? Не правда ли?

Лизаро вопросительно посмотрел на своего собеседника.

– Конечно, кому придет в голову такая глупость...

– То-то и оно-то... Но мой способ перемен при приезде в каждый новый город имени еще лучше. При нем вам нечего бояться и петербургской образцовой полиции с ее розыскными книгами.

– Но кто же вам доставлял эти паспорта?

– Никто, я их делал сам... Я выучился вырезать из резины печати и штампы и делал себе всевозможные удостоверения, свидетельства и тому подобные бумаги, необходимые в России для свободного проживания и спокойствия. Вы знаете, что в России для того, чтобы быть вполне полноправным гражданином, надо состоять из трех главных основных элементов: души, тела и паспорта. Раз эти три элемента налицо – все обстоит благополучно, хотя бы третий – паспорт и был фантастический. Полиция смотрит только на форму; выдан паспорт в установленном порядке, приложены печать и марки, значит паспорт действителен.

– А ответственность?

– Мне ее бояться было нечего... Семь бед – один ответ!.. Приехал я в Астрахань весною, ровно два года тому назад. Денег у меня было с лишком пятьдесят тысяч рублей и мне было не трудно втереться в лучшее общество города. Выдавая себя за моряка, и, будучи по профессии моряком, я вскоре сошелся с кружком морских офицеров и судовладельцев и через их посред-

ство поступил на службу в общество «Кавказ и Меркурий» помощником капитана парохода «Эльбрус», а три месяца спустя женился на дочери одного крупного рыбака Платонова, за которой взял приданого полтора ста тысяч.

– Это уж настоящий куш! – заметил Савин.

– Да, действительно, куш, – согласился Лизаро. – Такой блестящей женитьбы я еще ни разу не делал, не только в отношении денег, но также в отношении мною взятой жены. Это была молоденькая, семнадцатилетняя девушка, хорошенькая и воспитанная, и я невольно ею увлекся. Это-то увлечение и погубило меня. У человека, сделавшего из женитьбы преступное ремесло, увлечение и любовь не должны были иметь места. Это то же самое, как если бы вор, украв что-нибудь, настолько восхитился бы прелестью краденой вещи, что стал бы ее носить на память на виду у всех.

Вот, благодаря этому увлечению, я, вместо того, чтобы взять деньги и уехать с ними, как я это делал до сих пор, остался в Астрахани, обзавелся домом и стал жить с молодой женой, как бы настоящий лейтенант Новиков. Отуманенный этою новою жизнью я возмечтал о почестях и высшем положении и с помощью протекции моей новой родни добился места капитана на том же пароходе. Но при назначении на эту важную и ответственную должность правление общества обратилось за справками в морское министерство, которое ответило, что никакого отставного лейтенанта Новикова нет и указа об отставке за Но таким-то никогда выдаваемо не было. Эта справка, наведенная правлением общества в Петербурге, была сделана конфиденциально, и я ничего об этом не знал. И вот в один далеко не прекрасный день является ко мне полициймейстер и просит меня отправиться с ним к прокурору, который меня и арестовал. Сначала я не сознавался, но когда меня уличили в составлении подложных документов, по которым я жил и женился, а также в том, что я уже был женат, пришлось волей-неволей мне сознаться и раскрыть мое настоящее имя. Следствие длилось около года, после того меня осудили к лишению всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к ссылке на житие в Иркутскую губернию, а потом повезли судить по другим городам, где мною совершены были остальные преступления. Не раскрытою осталась только моя женитьба в Казани.

В Одессу я попал для очной ставки с моей первой женой, да с одним находящимся теперь в Одессе евреем, которого я выпустил под залог из брест-литовской тюрьмы. Осудили меня пока только в Астрахани, Харькове, Киеве, остается еще мне судиться в Бресте, Москве и Петербурге.

– Но как же отнеслись к вам ваши жены? – спросил, после некоторого молчания, крайне заинтересованный рассказом Николай Герасимович.

– Кроме настоящей, все остальные режут, как белуги. В особенности была комична моя киевская жена, хохлушка. Она даже просила суд не расторгать брак и разрешить ей ехать со мной в Сибирь, чего, конечно, суд не уважил.

– А вам их не жалко?

– По правде сказать, мне жалко только одну последнюю мою астраханскую жену. Она такая была милая, и я сильно к ней привязался; жаль мне также ребенка, родившегося от этого брака! Такой славный мальчуган! Мне его привозила жена на прощанье, когда меня отправляли из Астрахани в Харьков.

– Куда же вас теперь везут?

– Теперь я буду судиться за судебного следователя, которого я изображал, и за роспуск жидов под залог: это будет презабавное дело и открылось оно весьма оригинально. Вообразите себе, что меня узнал на киевском этапе один из моих подследственных жидов, которого я как судебный следователь выпустил под залог тысячи рублей. Потеха была здоровая, когда мой жид вцепился в меня, стал кричать «гевалт» и требовал, чтобы я возвратил ему «пепендзы».

Для очной ставки с этим-то жидом меня и возили в Одессу – он там содержится в тюрьме за другие совершенные им проделки.

– А не из приятных, должно быть, была для вас эта встреча?

– Какое там неприятно, мне, в сущности, безразлично, за эту брестскую проделку наказания меньше, чем за многоженство, всего только на жительство в Сибирь.

– Да вы мне говорили, что вас присудили на жительство в Иркутскую губернию?

– Да, но это вследствие снисхождения, данного мне судом, а могли закатить и с лишением всех прав состояния на поселение.

– А на поселение хуже?

– Один черт, разница только та, что нас, дворян, тогда отправляют в казенном арестантском платье, да и то, если есть протекция в губернском правлении, можно выхлопотать идти в своем. Там же, в Сибири, что поселенец, что сосланный на жительство – безразлично.

С таким интересным попутчиком-собеседником, как Лизаро, дорога от Одессы до Киева промелькнула для Савина незаметно.

В два часа дня на вторые сутки поезд остановился у киевской станции.

Погода была ужасная. Дождь лил, как из ведра, и, несмотря на это, партию высадили и повели в тюрьму, находящуюся на противоположном конце города, версты за три от вокзала.

В то время, когда партия строилась и Николай Герасимович стоял с приставленным к нему унтер-офицером, к ним подошел начальник конвойной команды.

– Я велел нанять извозчика для вас, – сказал он Савину, – а то пока дойдем до тюрьмы, вы промокнете насквозь. Ишь ливень какой.

Поблагодарив его за любезность, Савин сел с его земляком унтер-офицером в крытую пролетку и поехал шагом вслед за партией.

VII

В секретной

По прибытии в тюремный замок, конвойный офицер снова выказал Николаю Герасимовичу свое внимание, поведя его с собой, не дожидаясь общей приемки партии, в контору и представил смотрителю.

– Вы меня извините, господин Савин, – сказал ему, однако, этот последний далеко не ласковым тоном, прочитав поданные ему конвойным писарем относящиеся к арестанту бумаги, – но я принужден буду вас тщательно обыскать и затем содержать в секретной камере; уж больно строго насчет вас предписание от одесского градоначальника.

Савину вывернули все карманы, заставили снять сапоги и провели в маленькую очень грязную одиночную камеру, носящую название «секретной».

В одесской тюрьме хотя его и содержали строго в отделении политических, но там камера была, по крайней мере, чистая, светлая и, наконец, в ней было все необходимое, начиная с кровати.

Здесь же, в киевской тюрьме, Николая Герасимовича посадили в какую-то грязную, вонючую камеру, где кроме нар никакой мебели не было.

Но что было всего ужаснее – это режим этой тюрьмы.

Савин не мог положительно добиться ничего купить на свои деньги, и на его требования ему было категорически объявлено, что выписка продуктов делается один раз в неделю, по субботам, а так как этап прибыл в понедельник, то ему предоставлялось ждать и голодать целых пять дней.

– Что же мне, умирать с голоду? – спросил он оборванного хохла-надзирателя.

– Нет, с голоду не умрете... Мы вам дадим казенной пищи...

И действительно, на следующий день в обеденное время хохол принес Николаю Герасимовичу в деревянной миске крайне сомнительной чистоты «хлебово», как он называл жидкость, долженствующую из себя изображать суп.

«Голод не тетка» – говорит пословица, но тут и голод не помог, и Савин не в силах был съесть этого «хлебова» ни одной ложки.

– Проводите меня к смотрителю, в контору... – заявил надзирателю Николай Герасимович.

Хохол даже разинул рот от удивления и объявил, что из секретной камеры никого никуда не водят без особого разрешения начальства.

– Что же мне делать?

– Напишите прошение смотрителю, может быть, он сделает для вас исключение. Вот рядом в камере сидит «политик», так ему все полагается, свое получает...

Послушав совета надзирателя, Николай Герасимович написал смотрителю заявление, в котором просил его разрешить ему купить необходимые продукты, но получил отказ. Этот необоснованный отказ страшно взбесил заключенного, и он написал письмо к прокурору киевского окружного суда Н. Г. Медишу, его старому знакомому, с которым он был еще в бытность его товарищем прокурора в Туле в самых лучших отношениях.

Зная Медиша за прекрасного человека, Савин был уверен, что Медиш не посмотрит на ту обстановку, в которой он теперь находится, и приедет проведать его, а также, конечно, прикажет смотрителю обращаться с ним по-человечески.

Письмо это действительно произвело чудеса даже ранее, чем дошло по назначению.

В тюрьме поднялся целый переполох.

Не прошло и получаса, как Николай Герасимович передал его надзирателю, к нему явился смотритель.

– Вы жалуетесь на меня господину прокурору, что я вас будто бы притесняю и не даю ничего, – начал вкрадчивым голосом смотритель. – Чего же вы желаете, господин Савин?

– Я желаю, прежде всего, есть, так как сижу по милости вашей и ваших удивительных порядков уже второй день на пище святого Антония, и получая как дворянин пищу не натурой, а деньгами, я имею, мне кажется, право выписывать, что пожелаю.

– Так-то так, но у нас, видите ли, господин Савин, заведено, что выписка бывает раз в неделю, а потому я приказал вам давать не в счет вашего порциона казенный обед. Разве вы его не получали?

– Мне приносили какую-то бурду, но я есть ее не мог, так как к такой пище не привык... Вот почему я и написал Николаю Григорьевичу, прося его, по старой дружбе, приехать проведать, меня и распорядиться о том, что вы считаете невозможным для меня сделать, то есть купить мне колбасы и белого хлеба.

– Хорошо, я сейчас распоряжусь, и вам все купят, а вы уж письмо к господину прокурору перепишите, не стоит его беспокоить по пустякам... – сказал, уходя, смотритель, оставив письмо на подоконнике.

После его ухода Николаю Герасимовичу вскоре принесли все, что он просил, и кроме этого еще целую миску вкусного борща сговядиной, который ему послал смотритель от себя, что убедило наглядно Савина, что знакомство с прокурором в его положении, вещь далеко не бесполезная.

К счастью, в этой ужасной киевской тюрьме ему пришлось пробыть всего три дня, на четвертый уходил этап на Москву, с которым он и был отправлен.

От Киева до Курска дорога показалась ему очень скучной, так как в партии никого из интеллигентных и интересных не было и ему пришлось сидеть в обществе конвойных солдат.

В Курске принял этап московский конвой под начальством очень милого, совсем молоденького поручика.

При первом же обходе арестантов последний разговорился с Николаем Герасимовичем и был так любезен, что пригласил его в свое отделение, в котором он и доехал до Москвы.

Поручик оказался очень благовоспитанным и веселым человеком, но главное, человеком с душой, вникающим в положение людей.

Это последнее он доказал своим крайне гуманным отношением к Савину во время всего пути.

По приезде на Курский вокзал, поручик предложил Николаю Герасимовичу находиться при нем и следовать за этапом стороной по тротуару, вместе с ним.

– Так меньше будет заметно ваше положение, – сказал он ему.

По прибытии в московскую центральную пересылочную тюрьму начались снова мытарства и все благодаря этому «строжайшему» предписанию одесского градоначальника, находящемуся при бумагах Николая Герасимовича.

Вместо того, чтобы посадить его в общую «дворянскую камеру», его засадили в «секретную», помещающуюся в одной из башен, куда сажают только политических преступников.

Савин протестовал, но, в конце концов, должен был подчиниться.

Здесь он пробыл в одиночестве четверо суток до отхода этапа в Петербург.

Этап в Петербург отходил из Москвы каждый четверг и принимался петербургской конвойной командой, которая днем раньше прибывала с петербургским этапом в Москву.

В Петербург этапы бывают большею частью не велики, и тот, с которым отправили Савина, состоял всего из тридцати человек, в числе которых «привилегированный» был один он.

Офицера при этапе не было, и его заменял старший унтер-офицер.

Скучно было Николаю Герасимовичу во время этого суточного пути, и чем ближе подъезжали они к Петербургу, тем сильнее одолевала его эта томительная скука.

Легко понять всякому то удручающее впечатление, в котором он находился.

Разбитый физически и нравственно, омраченный настоящим его положением, наконец, усталый от всех перенесенных им тюремных и этапных мытарств за время этого двухнедельного путешествия от Одессы, ослабевший от голода и недостатка сна, он сделался страшно нервным.

При возбужденной же нервной системе человек становится чувствительным ко всему переживаемому. Картины, одна печальнее другой, проносились в его голове.

Момент разрушенной надежды, когда он был почти у пристани, восставал перед ним. Он как-то странно, смутно припоминал, как он очутился на пароходе «Корнилов».

Он был до того потрясен, что по прибытии на пароход впал в какое-то бессознательное состояние.

Это был не обморок или потеря чувств физических, но полнейший нравственный столбняк.

Он помнит, что ходил по пароходу, пил, ел, отвечал на предлагаемые ему вопросы, но делал все это машинально, в полной бессознательности, не понимая, где он находится и что с ним делают.

В таком положении механического манекена пробыл он почти сутки.

Когда наконец он пришел в себя, то увидел, что сидит на палубе парохода, идущего на всех парах, по необозримому, сильно волнующемуся морю.

Оглядевшись кругом, как человек только что проснувшийся после долгого сна, он заметил сидящего недалеко от него высокого, худого, с ястребиным носом и необычайно длинными, черными усами каваса русского консульства.

Присутствие этого смуглого арнаута заставило его вспомнить обо всем случившемся и понять его настоящее положение: он был арестован и препровождался в Россию.

Значит, все его надежды, все его мечты рухнули, разбились, как морская волна о прибрежные утесы, и он свалился с той высоты, на которую было с таким трудом поднялся.

Все было кончено!

Он был уже не блестящий французский граф, претендент на болгарский престол, а снова русский корнет Савин, узанный, уличенный, арестованный.

«Все кончено!» – сказал он себе.

Воздушные замки, грезы и мечты, лелеянные им, были разбиты и отошли уже в прошлое. В настоящем полная неопределенность – хотя с темной и ужасной перспективой.

Вот каково было его положение тогда. А что ожидало его в России? Мытарства тюрьмы и этапа, которые для него теперь уже близились к концу, а тогда стояли еще только зловещим призраком будущего.

Понятно, что у него появилась мысль бежать во что бы то ни стало.

Бежать, но когда?

Он хорошо понимал, что раз он ступит на русскую землю, там будут приняты самые строгие меры, чтобы довести его до Петербурга, а поэтому самое удобное было бежать теперь, с парохода.

С этой целью Николай Герасимович завел разговор с сидевшим рядом с ним за обедом капитаном парохода и стал его расспрашивать о курсе парохода, о заходах его в какие-либо порты, о близости берегов или каких-либо островов и так далее, и узнал от него, что «Корнилов» идет прямо до Одессы, не заходя ни в какие порты, и рейс его вдали от берегов. В одном только месте, близ устья Дуная, он проходит в недалеком расстоянии от румынского берега и единственного имеющегося в Черном море острова.

Узнал он также, что на этом острове есть маяк, который будет виден с «Корнилова», так как пароход пройдет всего в трех-четыре верстах от него, в первом часу ночи на вторые сутки пути.

Намотав все это себе на ус, Николай Герасимович стал обдумывать план бегства. Выходило, что оно, хотя и рискованно, но все-таки возможно.

Для этого нужно было взять один из многочисленных спасательных кругов, висевших на борту парохода, и надев его на себя, броситься в море во время прохода «Корнилова» близ этого румынского острова. Ночная темь должна скрыть бегство.

Будучи хорошим пловцом, доплыть расстояние в три версты он вполне надеялся, в особенности с помощью спасательного круга, да и не об этом была главная забота. Самым трудным в этом бегстве было обойти бдительность каваса, не отходившего от него, ни на шаг и могущего, конечно, помешать исполнить задуманный план.

Единственным местом, где он оставался один, без его назойливого общества, была каюта. В нее кавас не осмеливался проникать, довольствуясь охраной арестанта, стоя у двери.

Из этой-то каюты и надо было найти способ удрать.

Осмотрев ее, Савин убедился, что это было весьма возможно.

Люк в каюте был настолько велик, что человек мог свободно пролезть в него, но надо было уж отказаться от спасательного круга, так как в каюте его не было, да он и не прошел бы в отверстие люка.

Конечно, он не посмотрел бы на это и решился бы все-таки исполнить задуманное, если бы к вечеру не усилился ветер и не взволновал бы до тех пор спокойное море.

В бурю решиться на такое бегство было бы безумием.

Это была бы верная гибель.

Он понял, что бежать ему не судьба и отдался на волю ожидающих его случайностей.

Он помнил теперь, что это решение как-то странно успокоило его и он неожиданно для себя крепко заснул на диване каюты.

Проснувшись ранним утром, он вышел на палубу.

Погода была восхитительная, буря стихла, и пароход шел по зеркальной поверхности моря.

На горизонте виднелась черная полоса – это был русский берег. Сердце его томительно сжалось, его охватило гнетущее чувство страха неизвестности.

Черная полоса на горизонте становилась все явственнее, и вскоре можно было разглядеть молы и другие высокие постройки одесского порта.

Все это несло в воспоминаниях Савина, сидевшего в арестантском вагоне николаевской железной дороги.

VIII

В доме предварительного заключения

Петербург!

Как много в этом слове соединилось воспоминаний для Николая Герасимовича Савина!

Тут прошла его бурная юность! Тут жил предмет его первой настоящей любви – «божественная Маргарита Гранпа» – при воспоминании о которой до сих пор сжимается его сердце. Тут появилась в нем, как недуг разбитого сердца, жажда свободной любви, жажда искренней женской ласки, в погоне за которыми он изъездил Европу, наделал массу безумств, приведших его в конце концов в этот же самый Петербург, но... в арестантском вагоне. Дрожь пробежала по его телу, глаза наполнились невольными слезами.

Поезд в это время остановился у Николаевского вокзала.

Для избежания скандального шествия по городу, где на каждом шагу он мог встретить знакомые лица, Николай Герасимович на последний оставшийся у него рубль нанял карету, в которой и доехал до Демидова переулка, где тогда помещалась пересыльная тюрьма.

Не успели еще затвориться тяжелые железные ворота за въехавшей вслед за этапной каретой, как у ее дверей появился старший надзиратель.

– Вы корнет Савин?

– К вашим услугам.

– Пожалуйста в контору...

– У меня есть уже распоряжение отправить вас немедленно в дом предварительного заключения... – сказал Николаю Герасимовичу при входе его в контору седой худощавый подполковник, оказавшийся начальником тюрьмы.

Через полчаса въехала во двор тюрьмы извозчичья карета, в которой и отправили Николая Герасимовича с двумя надзирателями в дом предварительного заключения.

Дом предварительного заключения! Само название этого учреждения звучит как-то мягче и нежнее, нежели тюрьма.

Так думал Савин и хотя знал, что его везут туда не для развлечения, ему все-таки было как-то легче туда ехать, нежели в тюрьму.

В нем жила надежда, что с этим более мягким названием связано и более мягкое отношение к людям, находящимся, по воле судеб, в этом образцовом учреждении современной Фемиды.

И действительно, подъезжая по Шпалерной улице к этому «заведению», не замечаешь ничего тюремного: дом, как дом, у ворот ни будки, ни часового, а дворник в красной рубашке и фартуке, с метлой в руках.

Карета въезжает во двор, подъезжает к подъезду.

Подъезд настезь, швейцар в ливрее, как в самом аристократическом доме, выбегает, отворяет дверцы кареты и при этом, спрашивает:

– Чемоданчик прикажете тоже мне захватить?

«Какая цивилизация в тюремном деле! – мелькало в голове Николая Герасимовича. – Это отель, а не тюрьма».

С этой мыслью он вошел в прекрасно меблированную комнатуг оказавшуюся конторою.

Портрет Государя над письменным столом, за которым сидел толстенький лысоватый господин в военном сюртуке со жгутами, один оттенял официальность этого помещения.

Толстенький господин, оказавшийся помощником смотрителя, надел на нос золотое пенсне и очень любезно раскланялся с вошедшим, даже привстав.

– Вы корнет Савин? – спросил он мягким голосом.

– Точно так.

– О вашем прибытии мне уже сообщили по телефону, садитесь, пожалуйста.

Он любезно указал Савину на стоявший у письменного стола стул.

– Кто сообщил вам о моем прибытии? – удивленно сказал Николай Герасимович.

– Сначала мне сообщили со станции николаевской железной дороги о прибытии вашем с этапом, а затем, полчаса тому назад, еще из двух мест: от прокурора и из пересыльной тюрьмы, откуда вы были отправлены. Да мы и раньше знали, что вы к нам сегодня прибудете, во всех газетах было сообщение о вашем выезде из Москвы.

– Так вот как! Значит обо мне заботятся?

– Как же, как же... Почти ежедневно со дня вашего ареста в Константинополе что-нибудь о вас пишут, – сказал он, смеясь. – Не хотите ли курить?

Он любезно подал Савину свой серебряный портсигар.

– А это у вас разрешается?

– У нас все разрешается, кроме женщин и спиртных напитков, но и эти последние вы можете получить с разрешения врача.

– Да у вас настоящая гостиница! – заметил с улыбкою Николай Герасимович.

– Да, вот увидите! Наверное, после всех тюрем, которые вы прошли, теперь отдохнете у нас. Пойдемте, я вас отведу в вашу камеру.

Выйдя из конторы по парадному подъезду и поднявшись по нескольким ступеням, они подошли к тяжелой полированной двери.

На данный звонок дверь отворилась, и они вошли в достаточно светлый и очень широкий коридор.

По левой его стороне были расположены в четыре этажа камеры с однообразными дубовыми дверьми и ярлыками, на которых были обозначены номера их. К ним вела железная, с такими же перилами лестница.

По другую сторону коридора были огромные, как бывают в мастерских художников, окна, но с матовыми стеклами, пропускавшими мягкий свет, но не позволявшими не только ничего видеть, что происходит на улице, но даже и железных решеток, которыми они были снабжены.

Поднявшись на третий этаж, Николай Герасимович и помощник смотрителя, в сопровождении старшего надзирателя, встретившего их еще при входе, вошли в одну из камер.

Аршин четырех ширины и шесть длины, камера эта, освещавшаяся четырехугольным окном, находящимся от пола на высоте трех аршин, была безукоризненной чистоты. Высота ее была три аршина.

Стены ее были выкрашены свежей масляной краской, асфальтовый пол был натерт воском, а железная кровать со всем необходимым, стол и табурет составляли ее убранство.

– Ну, вот и ваша квартира пока, – сказал Савину любезно помощник смотрителя, – располагайтесь и отдыхайте... Вы, наверно, устали с дороги... Если вам что-нибудь будет нужно, то позвоните.

Он указал на пуговку электрического звонка.

Раскланявшись и пожав руку Николая Герасимовича, он вышел.

Савин остался один.

Несомненно, что одиночное заключение не представляет особой прелести, оно, оставляя человека постоянно с его думами, очень тяжело, подчас даже невыносимо.

Но человек привыкает ко всему.

Николай Герасимович уже просидел достаточно времени в одиночных тюрьмах Западной Европы, чтобы привыкнуть.

Разница была, впрочем, та, что там он был при деньгах и, значит, мог пользоваться всеми удобствами, в дом же предварительного заключения он буквально прибыл без гроша и даже без табаку.

Последнюю египетскую папиросу он выкурил на станции Колпино.

Таким образом, он испытывал всю тяжесть положения человека, сидящего в тюрьме без всяких средств, но тут-то и сказалась сердечность начальства этого образцового тюремного учреждения.

Ничего подобного Савин не встречал ни в одной тюрьме Западной Европы.

Даже обыкновенная арестантская пища была более, чем порядочная, в особенности, если принять во внимание, что от казны отпускалось всего по шести копеек на человека, но положение Николая Герасимовича постарались улучшить отпуском ему лазаретной пищи и покупкой ему из каких-то пожертвований, имеющихся в распоряжении тюремного начальства, чаю, сахару и даже табаку.

За все это он впоследствии уплатил, но где же это сделали бы, в какой европейской тюрьме?

Дом предварительного заключения, конечно, тюрьма, и тюрьма, устроенная по образцу одиночных тюрем Западной Европы, даже с одинаковым с ними режимом, но благодаря русскому благодущию, той русской простоте, а главное, русскому сердцу, бьющемуся в груди даже у тюремщиков, с чисто русской теплотой, в эту одиночную, со строгим режимом, тюрьму внесена русская простота, душевность и жалостливость ко всякому несчастному.

Нет, действительно, людей более добрых и сердечных, как русские.

Эта душевность и сердечность есть как бы отличительное свойство, присущее лишь русскому народу, и нигде в мире, ни у одной нации нет столько чувствительности, столько сердечной теплоты, как в русском человеке.

Эти свойства проявляются везде и во всем и не могли не отразиться и не наложить благотворную печать даже на таком иноземном учреждении, как одиночная тюрьма.

Конечно, не обезьянничай мы перед Западом, не перенимай всего западно-европейского, наверное, мы даже бы не придумали своим умом, и это, несомненно, к нашей чести, такого милого современного инквизиционного заведения, как одиночная тюрьма.

Но по несчастью, со времени петровских реформ в России постоянно увлекались всем иностранным, а наш интеллигентный класс, выбритый и одетый в европейский костюм Великим Петром, с палкою в руке, до того холопски вошел в свою роль, что, увлекаясь всем иностранным, стал одно время пренебрегать и чуждаться всего русского.

Заполонившие же в то самое время Россию немцы помогли нашим бритым и переряженным в европейцев интеллигентам довершить то, к чему они старались нас вести: убить все национальное и онемечить Россию.

К великому счастью для нашей родины, в последние годы русский дух снова воспрянул.

Мы стали понимать, что Западная Европа допевает свою песню, а Россия, полная молодой силы, только оживает.

Мы поняли, что нам нет надобности с завистью смотреть на заморские порядки, убедившись, что зачастую то, что там оказывается пригодным и хорошим, у нас никуда не годится.

У нас совершенно другие условия: наша жизнь, склад ума и потребности – все иное.

Из мощной русской груди раздался отрадный крик: «Не ей нас учить!»

К чему, действительно, нам благоговеть перед Европой?

Наша русская жизнь сложилась иначе, наш русский народ не тупоумный, кропотливый немец, не легкомысленный француз, не торгаш-кулак англичанин!

Это сердечный, смелый и великодушный народ, геройски перенесший монгольское иго, язву крепостного права, взяточничество бюрократии и, наконец, невежество, в котором его так долго держали!

И что же?

Проснувшись наконец, стряхнув с себя все эти цепи, он остался добр и младенчески незлобливо прощает тем, кого он имел бы право проклинять.

Герой и дитя – вот определение русского народа, и мы должны перед ним преклоняться до земли.

Если же мы, русские, были до сих пор так близоруки, что увлекались Западом, но этот самый Запад, мудрый, отживающий, хорошо видит и понимает силу и великую будущность России.

Эта сила кроется в характере, складе ума и душевных качествах Русского народа.

Такие или почти такие мысли пронесли в голове Савина, заключенного в одной из камер русского заморского заведения, но чувствовавшего даже сквозь толстые стены одиночной тюрьмы биение пульса русской жизни, сгонявшего, казалось, с этих стен их мрачность и суровость.

Николай Герасимович, оставленный волею закона наедине с самим собою, невольно предался воспоминаниям.

Перед ним одна за другой проходили картины его детства, юности – прошедшей в том самом Петербурге, которого он даже и не видел теперь, но чувствовал за этими стенами своей тюрьмы – заграничной жизни, привольной и сладкой жизни, перемены ощущений, подчас невзгод, но в общем надежд и мечтаний.

Он дошел наконец в своих воспоминаниях до момента приезда к нему в Брюссель любимой им и горячо его любящей женщины, блестящей львицы парижского полусвета – Мадлен де Межен, привезшей ему обрадовавшую его весть о распространившемся слухе о его смерти.

Он жил тогда в Бельгии под именем Сансака де Траверсе, и надежда возродиться к новой жизни, покончить с безумным прошлым, чудным цветком распустилась в его сердце.

Жизненный мороз скоро подкосил этот цветок.

Это было сравнительно еще так недавно... но лучше расскажем по порядку хотя часть томительных воспоминаний заключенного.

IX

Опять женщина!

Перенесемся и мы вместе с Николаем Герасимовичем Савиным года на два назад до описанных нами событий.

Им застаем его в Брюсселе в тот момент, когда газеты всего мира оповестили о его смерти под колесами железнодорожного поезда и когда ему, после жизненных тревожений и скитальческой доли последнего времени, заблестела звезда надежды на возможность спокойной жизни под избранным им новым именем маркиза Сансака де Траверсе.

Эту надежду поддерживала и одухотворяла любимая и любящая женщина Мадлен де Межен, променявшая свой роскошный отель шумного Парижа на скромную квартиру на уединенной улице тихого Брюсселя.

Кто не испытал разлуки, разлуки насильственной, тот не в силах будет понять страданий, которые переносят разлученные силою, не всякому будет легко представить себе ту радость, то счастье, которое испытал Николай Герасимович при приезде в Брюссель любимой женщины после этой долгой насильственной разлуки.

После первых порывов обоюдного восторга и нескончаемых ласк оба они первым делом стали обдумывать свое настоящее положение, соображаясь с их делами и надеждами.

Вопрос был для них слишком серьезен, от него зависела вся их жизнь, их счастье.

Мадлен де Межен сообщила Савину, что она все распродала в Париже, даже сдала их общую квартиру на Avenue Villier, оставив только необходимые вещи, и что по уплате долгов у нее осталось двадцать пять тысяч франков, которые она положила на текущий счет в «Лионский кредит».

Конечно, этих денег было слишком мало, чтобы ехать тотчас же в Америку, как они проектировали, и начать там что-нибудь серьезное.

Необходимо было дожидаться денег из России, но где было их дожидаться?

Этот вопрос являлся, по отношению к безопасности Николая Герасимовича, самым животрепещущим.

По его мнению, в Бельгии представлялось менее риска, чем в какой-либо другой стране.

Хотя распространенное газетами известие о его смерти и должно было на первое время усыпить бдительность разыскивающих его полицейских агентов, но Савин понимал, что последние не особенно-то доверчивы к газетным сообщениям и их профессиональный нюх будет, напротив, крайне заинтересован отсутствием трупа раздавленного поездом человека, и найдутся даже чиновники-любители, которые по собственной инициативе займутся разьяснением этого дела.

В этом мнении утвердила Савина прочтенная в одной из парижских газет заметка, в которой было ясно выражено сомнение в смерти «знаменитого Савина».

Предположение, чтобы русские власти разыскивали его в Бельгии, да еще под громким именем маркиза де Траверсе, о принятии которого им не могло быть известно, казалось Николаю Герасимовичу невероятным.

Во Франции, Италии и других странах, где его хорошо знали, где все читали о его двух бегствах и вообще обо всем случившемся с ним, было, конечно, опаснее жить, чем в Брюсселе, в незнакомом городе, под прикрытием чужого имени и скромной уединенности.

В силу этих-то соображений он и Мадлен решили остаться в Брюсселе.

Скрывшемуся так французу или итальянцу в России, конечно, предосторожностей, принятых Савиным, было не вполне достаточно, но в Бельгии, одной из стран Западной Европы, где интересы других народов соблюдаются так же, как и свои собственные, надо было, как оказалось, быть осторожнее и скрываться еще тщательнее.

В России привыкли смотреть на вещи иначе, чем смотрят люди за границей, поэтому русским и не приходит в голову, например, таких вещей, чтобы в Бельгии хлопотали об интересах Германии и Франции, как о своих собственных, а между тем то, чего русские почти не знают и не понимают, то есть международная солидарность, существует во всей Западной Европе.

Там между государствами, или точнее, между полицией разных государств тесная связь, о которой русские люди не имеют никакого представления.

Там достаточно телеграммы или письма какого-нибудь полицейского комиссара, или агента парижской, берлинской или миланской полиции к префекту или управлению другой иностранной полиции, в Брюсселе, Женеве или Вене, чтобы вся эта брюссельская, женевская и венская полиция была тотчас же поставлена на ноги по иностранному делу, как бы по своему собственному и заподозренные лица разысканы и арестованы до выяснения дела и присылки всей подробной о них переписки.

Эта-то международная солидарность и привела Николая Герасимовича к новым мытарствам жертвы настойчивого полицейского розыска.

Розыски, разные публикации в специальных полицейских интернациональных газетах и листках, издаваемых в Лондоне, Берлине, Париже и Майнце на четырех языках (французском, немецком, английском и итальянском), – все это надвигалось на Савина грозными тучами.

Берлинские агенты ездили по его следам в Голландию, и весь инцидент, случившийся с ним в Скевеннинге, произошел вследствие приезда в Гаагу немецких сыщиков, так что если бы Николай Герасимович не убежал тогда, он, наверное, был бы арестован и выдан еще из Голландии.

Конечно, прусская полиция действовала только ввиду отместки, не будучи в праве требовать его выдачи, разыскивая его с целью направить на него русские власти в случае удачного розыска.

Ей было важно найти Савина, чтобы дать немедленно знать по телеграфу кому следует в Россию о месте его пребывания и смыть пятно, наложенное на ее полицейскую репутацию его бегством.

Оказалось, что после его удачного бегства из «Hotel d'Orange» в Скевеннинге, немецкие сыщики, потеряв его след, вообразили, что он уехал в Париж, а потому обратились к парижской префектуре, прося ее следить за проживающей в Париже любовницей Савина Мадлен де Межен.

Эти-то наблюдения и привели ко всем неприятностям и аресту Николая Герасимовича в Брюсселе.

Парижская полиция, узнав об отъезде Мадлен де Межен в Брюссель, сообщила о том берлинской полиции, в силу все той же международной полицейской солидарности.

На основании этого сообщения в Брюссель не замедлило прийти такое же сообщение из Берлина с описанием примет Савина и приложением его фотографической карточки, полученной немецкой полицией из Парижа.

Конечно, этого было вполне достаточно, чтобы брюссельская полиция принялась немедленно за розыски Николая Герасимовича и нашла его.

Найти его было не трудно, особенно благодаря приезду Мадлен де Межен.

Ее красота, элегантность, туалеты и особый парижский шик, выделявшие ее из толпы, бросались в глаза.

Самый простенький, темный туалет имел в Мадлен всегда отпечаток особого тона и шика, что невольно притягивало взоры всякого встречного, а не только ищущих ее, а по ней Савина, брюссельских сбиров.

Кроме того, хотя никакой формальной прописки паспортов в Бельгии не существует, но есть другие меры, вполне заменяющие ее.

В силу полицейских правил, всякий хозяин дома, гостиницы и даже частных квартир, отдаваемых внаем, обязан доносить полиции о приезде всякого иностранца с обозначением данных им хозяину сведений о его имени, звании и национальности, и таким образом всякий иностранец, проживающий в Бельгии более трех дней, бывает внесен в негласные полицейские списки, о чем он даже не имеет никакого понятия, так как это делается не им, а его хозяином и даже без его ведома.

Такие негласные меры, предпринимаемые полицией, много существеннее для полиции и опаснее для скрывающихся, чем все строгие прописки видов и другие формальности, которые всегда можно обойти и избежать, зная о них.

На эту-то удочку, на которую попадались уже многие, попался и Николай Герасимович Савин.

Дней через десять по приезде Мадлен де Межен в Брюссель, Савин поехал утром на почту и по возвращении домой Мадлен рассказала ему, что в его отсутствие приходил какой-то чиновник, желавший непременно его видеть, и так как она сказала ему, что не знает, когда он вернется, то посетитель стал ее расспрашивать о его имени, годах, месте его рождения и надолго ли он приехал в Бельгию, а также о том, законная ли она жена или нет и как ее зовут.

На вопросы ее, к чему все эти сведения, он ответил, что обо всех иностранцах, проживающих в Бельгии более продолжительное время, собираются сведения для статистической цели, и что он чиновник муниципального совета, которому поручено это дело.

Это сообщение Мадлен и визит незнакомца очень встревожили Николая Герасимовича, и он высказал свои опасения Мадлен.

– Это, голубушка моя, – сказал он ей, – не чиновник статистического комитета, а просто сыщик.

– Мне самой показались странными некоторые его вопросы, – отвечала она, – к чему непременно ему надо было знать для статистики Бельгии, жена ли я твоя или нет.

– Конечно, это, наверное, сыщик и визит его не предвещает ничего хорошего... Нет, моя милая, надо принять безотлагательно меры предосторожности и, по моему мнению, самое лучшее будет, если мы сегодня или завтра уедем из Брюсселя и даже из Бельгии.

– Странно-то, странно, – заметила Мадлен, – но я все же думаю, что ты преувеличиваешь опасность... Если даже это был полицейский сыщик, то нет основания после первого же его визита бежать без оглядки.

– Что же, дожидаться его второго визита? – с иронией спросил Савин.

– Отчего же и не дожидаться... По-моему, всего благоразумнее показаться равнодушными к этому визиту и спокойствием стараться отвлечь всякие подозрения полиции. Поверь мне, если бы ты был узан и о выдаче твоей было бы формальное требование из России, полиция не стала бы церемониться и арестовала бы тебя без всяких предварительных засылов своих агентов.

Доводы эти показались Николаю Герасимовичу довольно основательными, да и когда же доводы любимой женщины кажутся нам иными?

Но... «пуганная ворона куста боится», и Савин все-таки стал уговаривать и уговорил Мадлен поехать жить в Лондон.

Они стали собираться к отъезду.

Будь Николай Герасимович один и не подсмеивайся над его страхом Мадлен, он уехал бы, замаскировав свой отъезд и скрыв следы, но насмешки любимой женщины его стесняли и ему совестно было проявить перед ней трусость.

Таким образом было потеряно три дня.

Этой медлительностью он погубил себя и в этой гибели, как, и во всей его предшествовавшей жизни, была виновата женщина.

Х Арест

Прошло три дня.

Однажды утром, часов около девяти, когда Савин и Мадлен еще покоились сладким сном, в их спальню торопливо вошла квартирная хозяйка госпожа Плесе.

– Маркиз, маркиз!.. – стала она расталкивать спавшего Николая Герасимовича.

– Что, что такое?.. – широко раскрыв глаза, спросил он.

– Там вас спрашивают какие-то два господина... – с видимым волнением и тревогой в голосе продолжала госпожа Плесе.

– Кто они и что им надо?

– Это опять, вероятно, они! – воскликнула проснувшаяся Мадлен.

– Да, маркиза, один из них, действительно, тот самый, который приходил сюда на днях, а другой – наш полицейский комиссар.

– Мы погибли!.. – побледнела Мадлен де Межен.

Действительно, для нее и для Савина не оставалось сомнения, что эти господа пришли арестовать лицо, о котором один из них наводил такие подробные справки.

Первой мыслью Николая Герасимовича было бежать.

Как только хозяйка вышла из спальни, он вскочил с кровати и подбежал к окну, чтобы посмотреть, нет ли кого у подъезда.

Оказалось, однако, что комиссар принял все меры предосторожности, и у ворот дома стояли два полицейских сержанта в форме и два каких-то штатских господина, видимо, сыщики.

Никакой надежды на спасение не было, и Савину оставалось только отдаться в руки правосудия.

В нескольких словах он передал Мадлен тот образ действия, которого они должны были держаться, и те показания, которые она должна была дать, если ее спросят о нем.

– Голубчик, Мадлен, – спеша шепотом говорил он, – себя ты должна назвать своим настоящим именем, а не моей женой, как это было до сих пор. Про меня же – что я не Савин, а, действительно, маркиз Сансак де Траверсе.

Молодая женщина слушала, лежа в постели, бледная, вся дрожащая, и лишь наклоном головы соглашалась на просьбы Савина.

Видимо, страшное волнение мешало ей говорить.

– Впрочем, все это пустяки, – продолжал он, – и ты можешь успокоиться, меня, вероятно, подержат несколько дней, твои показания будут в мою пользу, против меня не будет никаких других доказательств, и они принуждены будут меня выпустить. Во всяком случае, умоляю тебя, не падай духом, возьми хорошего адвоката, чтобы он руководил тобой в моем деле.

Не успел Николай Герасимович окончить беседу с Мадлен, как в дверь раздался стук и, не дождавшись даже разрешения войти, ее отворили, и в комнате очутились два господина – полицейский комиссар, опоясанный своим официальным шарфом, и мнимый чиновник статистического бюро – сыщик.

Такое более чем бесцеремонное появление в спальне, где лежала еще в постели дама, взбесило Савина и он бросился к ним навстречу.

– Что вам угодно, и какое вы имеете право врываться в мою и моей жены спальню?..

– Входим мы сюда вследствие законного права, – ответил сухо комиссар, – я пришел именем закона вас арестовать, господин Савин.

– Меня зовут маркизом Сансаком де Траверсе, а не Савиным, и вы, должно быть, ошиблись, явившись сюда. Во всяком случае, прошу вас немедленно выйти отсюда, так как вы видите, что моя жена еще в постели и не одета.

– Все эти басни нам давно известны и не действуют на меня, господин Савин... – возразил комиссар. – Мы знаем, что вы русский офицер, а не французский маркиз, вследствие этого вы обвиняетесь в ношении чужой фамилии. Лежащая же в постели женщина не ваша жена, а парижская кокотка Мадлен де Межен.

– А вы сыщик и нахал! – воскликнул Николай Герасимович вне себя от бешенства. – Вон отсюда! Я у себя, а та, которую вы осмелились сейчас оскорбить, женщина, которую я люблю и уважаю, и за которую я сумею постоять!..

С этими словами он схватил комиссара и его спутника и выгнал их в шею за дверь спальни, после чего запер за ними дверь на ключ.

Ошеломленный неожиданным отпором, комиссар, видимо, первые минуты не знал, что предпринять, и лишь затем, спохватившись, стал звать себе на помощь стоявших на улице полицейских сержантов и агентов, которых вскоре набрался полный дом.

Они шумели, ругались, неистово стучали в запертую дверь спальни, грозя ее сломать, если Николай Герасимович не отперет.

Последний тоже им отвечал ругательствами и угрозами.

– Я застрелю первого, который осмелится войти в спальню раньше, нежели встанет и оденется моя жена! – заявлял он.

– Вам, господин комиссар, я объявляю, что права меня арестовать я за вами не признаю, я требую формального приказа от королевского прокурора, без которого не подчинюсь и не последую за вами.

Видя упорство Савина и совершенно законное его требование о предъявлении ему письменного постановления (*manda d'ammene*) на его арест от судебной власти, комиссар поехал за этим постановлением к прокурору, оставив для охраны дверей спальни своих подчиненных.

Прошло около часа его отсутствия.

Этим временем Николай Герасимович воспользовался, чтобы успокоить совершенно убитую горем молодую женщину.

Она рыдала и винила себя во всем случившемся:

– Это я, я погубила тебя! Это я уговорила тебя не торопиться с отъездом в Англию. Я теперь вижу, что ты был прав. Надо было уехать без оглядки и не оставаться ни минуты в Брюсселе, после подозрительного визита этого статистика... – с рыданием говорила она.

– Ну, перестань плакать, теперь слезами не поможешь, да и ничего опасного для себя я не вижу в моем аресте, – старался успокоить ее Савин, – пока нет требования о выдаче меня от русской судебной власти. За ношение чужого имени не Бог весть какое наказание: недели две ареста, так что я могу быть освобожден раньше, нежели что-нибудь придет из России.

В половине одиннадцатого вернулся комиссар и стал во имя закона требовать, чтобы ему отворили дверь, иначе он угрожая сломать ее, а Николая Герасимовича привлечь к ответственности за явное неповиновение закону и властям.

Так как Мадлен была уже одета, то Савин не нашел более препятствий исполнить его требование и отворил дверь.

Комиссар вошел не один, а с целой ватагой агентов и полицейских сержантов, которые всей гурьбой бросились к Николаю Герасимовичу и вцепились ему в руки, ноги и платье, как стая гончих собак в затравленного волка.

Не будучи в состоянии защищаться от такого множества необузданных полицейских, Савин только громко протестовал против такого насилия.

Мадлен де Межен вся в слезах также бросилась к комиссару.

– Господин комиссар, ради Бога, прекратите это возмутительное насилие, уверяю вас, что он вполне подчинится вашему законному требованию и последует за вами без всякого сопротивления.

Грубый комиссар, вместо вежливого ответа, оттолкнул ее.

– Это не ваше дело, и если вы будете соваться, куда вас не спрашивают, я велю его связать, да арестую и вас! – крикнул он.

Эта наглость и дерзкое обращение до того возмутили без того страшно взволнованную Мадлен, что она в один миг превратилась из униженной, убитой горем женщины в рассвирепевшую львицу.

– Так арестуйте же и меня вместе с маркизом! – воскликнула она вне себя от негодования и неожиданно для всех схватила стоявшее близ умывальника фаянсовое ведро, полное грязной воды, и вылила его на голову комиссара.

Как ни тяжело было в эту минуту Николаю Герасимовичу, как ни полно было его сердце скорбью о предстоящей разлуке с любимой женщиной, но он не мог удержаться от громкого смеха, видя эту трагикомическую сцену.

Озадаченный неожиданной выходкой молодой женщины сконфуженный комиссар, опоясанный своим официальным трехцветным шарфом с золотыми кистями, облитый с ног до головы грязной водой, стоял растерянный, ошеломленный.

– Теперь арестуйте и меня... Что же вы на меня не натравливаете вашей своры! – кричала рассвирепевшая Мадлен, гордо стоявшая перед комиссаром.

Придя немного в себя, однако охлажденный своеобразной ванной, комиссар наконец приказал оставить Савина в покое и, кое-как обтершись при помощи своих подчиненных, приказал проводить Николая Герасимовича и Мадлен де Межен в ожидавшую у подъезда карету и отвезти их в полицейское бюро, куда и отправился вслед за ними.

Там, в комиссариате, он прочел Савину приказ королевского прокурора об его аресте вследствие обвинения его в проживании под чужим именем, преступлении, за которое по закону Бельгии виновные подвергаются заключению в тюрьме до трех месяцев.

На основании этого приказа Николай Герасимович должен был быть немедленно арестован и доставлен к судебному следователю, от которого зависело дальнейшее распоряжение.

Прощаясь с Мадлен де Межен, Савин еще раз просил ее успокоиться и не падать духом.

– Если тебя арестуют, обратись за защитой к французскому консулу, наконец, представь залог, чтобы избежать предварительного заключения.

С этими словами он расстался с молодой женщиной и в сопровождении двух полицейских агентов поехал в суд, в камеру судебного следователя.

Здание суда в Брюсселе, так называемое «Palais de Justice», составляет одну из достопримечательностей столицы Бельгии и бесспорно может считаться самым большим и красивым зданием в Европе.

Оно было построено за несколько лет до описываемого нами времени и стоило шесть миллионов франков.

В этом «дворце правосудия», кроме камер судебных следователей и прокуроров всех инстанций, помещается суд исправительной полиции, апелляционная палата брюссельского округа с многочисленными судебными залами и канцеляриями, а также высший кассационный суд Бельгии.

Здание это помещается на обширной площади в конце Королевской улицы.

В это-то великолепное здание суда и прибыл с двумя провожатыми Николай Герасимович Савин.

Все трое направились по широкому светлому коридору в камеру судебного следователя господина Велленса.

Последний был еще молодой человек, лет тридцати с небольшим, брюнет, весьма симпатичной наружности.

– Прошу садиться! – обратился он к подошедшему к его столу Савину, указав рукой на стоящий у стола стул.

Николай Герасимович сел. Допрос начался.

– Вас обвиняют в проживании под чужим именем и в оскорблении действием и словами полицейского комиссара и агенток полиции при вашем аресте, – сказал он, прочитав присланный комиссаром протокол. – Признаете ли вы себя виновным?

– Нет, не признаю... Я маркиз Сансак де Траверсе и никакого русского офицера Савина не знаю... Что же касается до оскорбления, нанесенного мной полицейскому комиссару и агентам полиции, то я был вынужден это сделать, вследствие их неприличного поведения и вторжения в спальню женщины, с которой я живу. Сначала я просил вошедшего комиссара очень вежливо выйти из комнаты, так как я был еще не одет, а моя сожительница лежала в постели, а когда он отказался это исполнить и назвал женщину, которую я уважаю, кокеткой, то я не выдержал и действительно вытолкнул его и его спутника из моей спальни. В этом моем действии я ничего преступного не нахожу и прошу вас освободить меня.

– Будь вы бельгийский подданный или хотя бы иностранец, но человек известный в Бельгии, – отвечал судебный следователь, – я согласился бы на ваше освобождение до суда... Но так как, по сообщенным мне полицией сведениям, вы русский офицер Савин, преследуемый за разные уголовные дела в России и притом бежавший от немецких властей во время следования в Россию, то до разяснения всего этого или оправдания вас судом я обязан заключить вас в предварительную тюрьму. От вас, конечно, зависит ускорить это освобождение предъявлением доказательств о вашей личности.

– Вообще, – добавил он, – дело не может затянуться долго, так как я немедленно пошлю всюду, куда следует, телеграммы и допрошу всех лиц, знавших вас раньше, начиная с вашей подруги госпожи де Межен, чтобы разяснить вашу личность.

Затем судебный следователь написал постановление о содержании именуемого себя маркизом Сансаком де Траверсе в предварительном заключении.

– Это мое постановление, – сказал он Савину, – по нашим законам имеет силу в течение недели, а по истечении этого срока содержание ваше под стражею будет зависеть от решения синдикальной камеры судебных следователей (*Chambre syndicale des juges d'instructions*), которая может продолжить ваше заключение или же освободить вас. К этому времени вы можете избрать себе защитника или же явиться лично в синдикальную камеру для дачи объяснений.

Затем господин Велленс позвонил и явившимся полицейским агентам передал Николая Герасимовича и постановление об его аресте.

– На этих днях я еще раз вызову вас, а теперь можете идти, – сказал он Савину.

Полицейские агенты снова усадили его в ту же карету и повезли в тюрьму святого Жилия.

XI

Тюрьма святого Жилия

Тюрьма святого Жилия находится на окраине города, в предместье того же имени. Выстроена она только в 1884 году, стоила бельгийскому правительству десять миллионов и представляет, так сказать, шедевр тюремного дела.

Подъезжая к предместью святого Жилия, вы издали уже видите ее высокие с башнями стены и возвышающийся из их середины купол.

Подъехав к железным воротам тюрьмы, Николай Герасимович со спутниками вышли из кареты, вошли через ворота во двор и прошли через него к большому подъезду, ведущему в контору тюрьмы.

Пока ничего тюремного не было видно.

Большая, весьма комфортабельная приемная комната была похожа скорее на банкирскую контору, чем на контору тюрьмы.

В ней занимались человек пятнадцать служащих.

Передав одному из них постановление следователя и получив квитанцию о приводе арестанта, полицейские агенты тотчас же ушли, оставив Савина в конторе.

После их ухода ему пришлось объяснить тому же служащему свое имя, фамилию, национальность, лета и прочее.

Все это было занесено в толстую книгу, после чего, позвонив, служащий передал Николая Герасимовича вошедшему тюремному служителю, с которым последний и пошел во внутрь тюрьмы.

Пройдя длинный коридор, они остановились у железной решетчатой двери, за которой стоял швейцар. Проводник Савина передал его ему вместе с каким-то принесенным им из конторы ярлыком.

Пройдя эту дверь, Николай Герасимович очутился в большом круглом зале, освещенном сверху стеклянным куполом.

Посреди этого зала был устроен род беседки, в которой помещалось распорядительное бюро. В этом бюро постоянно находились дежурные: помощник директора тюрьмы и старший надзиратель.

Расспросив арестанта о том же, о чем спрашивали в конторе; и записав все это в книгу, его поручили какому-то служащему, который повел его в назначенную ему камеру.

От центра идут лучеобразно пять галерей, каждая в три этажа, обозначенные под литерами.

Николай Герасимович попал в галерею под литерой «А» и был помещен в нижнем этаже в камере № 29.

Камеры по расположению, величине и устройству все одинаковы. В них пять метров длины и четыре ширины, высокие, светлые, стены выкрашены серой масляной краской, а полы паркетные. Чистота безукоризненная, а меблировка состоит из стола, который ночью раскидывается в постель, дубового полированного стула, небольшого шкафа из такого же дерева для посуды и вешалки. Кроме того, в каждой камере проведена вода, устроен ватер-клозет и электрическое освещение.

На стенах в дубовых рамках висят тюремные правила, выписки из некоторых законов, необходимых для арестованных, список всех адвокатов, состоящих при брюссельской апелляционной палате, с их адресами, и прейскурант продуктов, продаваемых в тюрьме.

Вскоре после привода Савина в камеру, его навестил дежурный помощник директора, очень любезный человек, бывший офицер бельгийской армии.

Между прочими разъяснениями, он передал ему, что если он желает довольствоваться на собственный счет, то может это сделать и даже получить более комфортабельно меблированную комнату, так называемую «pistole», с платой по десяти сантимов в день, то есть три франка в месяц.

Николай Герасимович, конечно, просил сейчас его перевести в такую комнату, что и было исполнено.

Эта камера была в сущности такая же, как и все остальные, но вместо складной кровати, убирающейся днем, была железная постоянная койка с хорошим пружинным матрацем, пуховою подушкой, байковым одеялом и чистым бельем, меняющимся каждые две недели.

Кроме кровати был также ясеневое дерева стол, мягкое кресло, шкаф для вещей и умывальник.

Такой комфорт в тюрьме весьма чувствителен и приятен для заключенного – им как бы сглаживается то ужасное тюремное тяготение, которое так чувствуется при простой тюремной обстановке, постоянно напоминающей заключенному, что он в тюрьме.

Кроме того, хорошая кровать располагает ко сну и позволяет несчастному арестанту забыться на более продолжительное время.

Для получения пищи было устроено таким образом.

Можно было обратиться к одному из ближайших к тюрьме ресторанов, через посредство знакомых или комиссионера, находящегося при тюрьме, и просить хозяина ресторана зайти в контору тюрьмы, чтобы уговориться об условиях присылки пищи.

Таким образом поступил и Николай Герасимович.

В конторе ему рекомендовали ближайший местный ресторан «Gigot de mouton», куда он и послал на следующий же день за обедом и за хозяином, чтобы с ним сговориться о дальнейших присылках.

Хозяин ресторана не заставил себя долго ждать и пришел в тот же день.

Они договорились на том, чтобы Савину ежедневно присылать на утро – кофе, к обеду три блюда и к ужину – два, с бутылкой красного вина или двумя бутылками пива.

За все это была назначена плата в три франка в день, а если Николай Герасимович пробыл более месяца, то восемьдесят франков в месяц.

Цена была очень недорогая, и Николай Герасимович во все время его пребывания в тюрьме святого Жилия харчился в «Gigot de mouton» у госпожи Верлен и был им очень доволен.

Правда, что присылалось все это в корзине за один раз, так что Савин вынужден был купить спиртовую лампочку для разогревания кофе утром и ужина вечером, так как все присылалось к обеду в двенадцать часов, но это нисколько не затрудняло, а напротив, это своего рода стряпанье забавляло и прекрасно убивало время.

Таков был комфорт в современной тюрьме, все же остающейся тюрьмою.

Всякий пансионер этого современного образцового учреждения должен был строго подчиняться установленным правилам, и малейшее отступление влекло за собою наказание, предусмотренное тюремным кодексом и назначаемое тюремным начальством по приговору тюремного суда.

Этот суд состоял из директора тюрьмы и двух его помощников и собирался для суждения ежедневно в десять часов утра, после рапорта надзирателей.

Режим тюрьмы святого Жилия был следующий.

Вставали все по звонку в пять часов утра. Одновременно с первым звонком появлялся и электрический свет в камере, конечно, в то время года, когда в пять часов еще темно.

Заключенный обязан был сейчас же встать, одеться, умыться и сложить свою кровать (за исключением платящих и имеющих постоянную кровать), вымести и натереть воском пол, с таким расчетом, чтобы все это было кончено к шести часам утра, ко времени раздачи кофе.

Кофе давали цикорий, с небольшим количеством молока, но без сахара. Сахар можно было покупать на свои деньги. Одновременно с кофе давали паек хлеба с фунт весом, на целый день.

С девяти часов утра начиналась отправка в суд и к следователю.

Те из заключенных, которые не вызывались из тюрьмы, шли гулять.

Прогулка делалась в специальных помещениях, куда шли заключенные один за другим цугом на расстоянии десяти шагов друг от друга.

Это делалось для того, чтобы они не имели между собою никакого сообщения.

Видеть друг друга заключенные не могли, так как в коридорах им было строго запрещено оглядываться, да и кроме того, каждый из них до выхода из своей камеры, куда бы он ни выходил, обязан был надеть имеющуюся у каждого маску с капюшоном, закрывающим совершенно не только лицо, но и всю голову.

Прогулка происходила в саду, в специально устроенных для того помещениях, вроде небольших загонов или стойл без крыши, но окруженных со всех сторон каменными стенами.

В этом-то загоне каждый из заключенных гулял совершенно один в продолжение часа, а с разрешения доктора и дольше. Прогулка эта была обязательна для всех, и не ходить на нее заключенный мог только с разрешения доктора.

В двенадцать часов раздавали обед, состоящий из большой миски супу с говядиной и овощами пять раз в неделю, и два раза, по средам и пятницам, давали горох.

С часу до пяти происходил прием родственников и посетителей.

В шесть часов раздавался ужин, состоящий из полной миски печеного или вареного картофеля, а в девять часов вечера звонок извещал всех, что надо ложиться спать.

Четверть часа спустя потухало везде электрическое освещение. Тюрьма погружалась во мрак и действительно засыпала, чтобы на завтра начать новый день, похожий, как две капли воды, на вчерашний.

По воскресеньям и праздникам было обязательно для всех идти в церковь к обедне, где по окончании службы аббат говорил проповедь.

Церковь была устроена так, что все шестьсот заключенных, содержащихся в тюрьме, присутствовали при богослужении, находясь каждый в отдельном запертом помещении, и не могли видеть друг друга, что не мешало им прекрасно видеть алтарь, стоящий на возвышении, и слышать богослужение.

В тюрьме была очень большая и хорошая библиотека, и заключенным давались книги и журналы по их выбору и сколько пожелают. Давались также и работы, желающим заняться таковыми, за что полагалась плата по таксе.

Заработок зависел от категории, к которой принадлежал заключенный, так: 1) заключенные, находящиеся в предварительном заключении, получали всю плату заработка за исключением 10 %; 2) приговоренные по суду, для которых работы были уже обязательны, получали заработанные деньги в таком распределении: а) приговоренные к простому тюремному заключению – $\frac{3}{4}$ заработка, б) усиленному тюремному заключению, так называемому «réclusion» – $\frac{1}{2}$ заработка, и в) каторжные – всего $\frac{1}{4}$ заработной платы.

Работы эти делались каждым в своей камере и сдавались заведующему работами, от которого и получался расчет каждую субботу.

Деньги, как свои, так и заработанные, хранились в кассе, а на расходы и выписку необходимого выдавалось заключенному на руки не более пяти франков за раз.

Из этих денег они платили за все ими покупаемое в тюремной лавочке дежурному надзирателю, разносившему выписываемые продукты и вещи каждое утро.

Куренье табака, вино и пиво были разрешены, спиртные же напитки строго воспрещены.

Все заключенные до года тюремного заключения имели право носить свое платье, все же остальные обязаны были носить казенное, заключающееся из темно-серой пиджачной пары,

совершенно приличного покроя и хорошего сукна. Каторжники отличались только тем, что им брили усы и бороду и на брюках у них были нашиты широкие черные лампасы.

При этом все осужденные без исключения лишались права, по вступлении приговора в законную силу, кормиться на свой счет.

Доктор ежедневно обходил всех больных, заявлявших надзирателю желание видеть врача.

При первых же симптомах какого-либо заболевания больной немедленно переводился в тюремную больницу, которая находилась в саду, отдельно от главного здания тюрьмы.

Там больные, конечно, пользовались большим комфортом и удобством, но все были так же изолированы от других заключенных, как и в большом здании, и кроме доктора, фельдшера и тюремного персонала никого не видели.

За всякое нарушение тюремных правил или непослушание администрации заключенные подвергались строгим взысканиям в виде: 1) лишения чтения, 2) прогулки, 3) куренья, 4) свидания со знакомыми и родственниками и, наконец, 5) заключения в карцер от суток до трех.

Все эти наказания налагались тюремным судом.

По рапорту надзирателя, заметившего в чем-либо заключенного, вызывались на следующее же утро как обвинитель – надзиратель, так и обвиняемый – заключенный в центральное бюро.

Там заключенный снимал перед судом маску и отвечал на возводимое на него обвинение.

Рассматривали эти дела правильно, без всякого пристрастия, и при доказанной виновности, хотя бы в самом пустом проступке, виновный был непременно наказуем.

Решения этого суда были, конечно, безапелляционными и приводились немедленно в исполнение.

XII

В тюрьме «Petit Carmes»

Вскоре после отъезда Николая Герасимовича Савина из полицейского бюро в суд полицейский комиссар пригласил к себе в кабинет оставшуюся в бюро Мадлен де Межен.

В кабинете, рядом с комиссаром, сидел у письменного стола какой-то сухой, белокурый, с небольшой клинообразной бородкой господин.

– Здешний королевский прокурор! – представил его комиссар Мадлен.

Та поклонилась.

– Прошу вас садиться.

Молодая женщина села в стоявшее у стола кресло.

Начался допрос.

И прокурор, и комиссар стали по очереди задавать ей вопросы, касавшиеся Савина и ее отношений к нему.

Видя, что ответы ее не удовлетворяют их желаниям и почти не компрометируют арестованного, они переменили тон и стали говорить молодой женщине о наказании, которое ее ожидает за тяжелое оскорбление власти в лице полицейского комиссара, которого она так бесцеремонно облила грязной водой.

– Будьте, главное, откровенны и правдивы, – заметил прокурор, – и тогда я постараюсь улучшить ваше положение, оставю вас до суда на свободе, разрешу свидание с господином Савиным.

– Я не нуждаюсь в свидании с господином Савиным, так как такого не знаю, – отвечала молодая женщина, – повторяю вами что арестованный вами именно маркиз Сансак де Траверсе, а не Савин... Вы ошиблись. Что же касается до оскорбления господина комиссара, то он сам довел меня до припадка бешенства своим поведением... Арестуйте меня или отпускайте на свободу – это ваше дело... Большого, чем я показала – я показать не могу, при всем моем желании...

– В таком случае, я прикажу отвезти вас к судебному следователю... – сухо сказал прокурор.

– Делайте, что хотите и что обязаны.

Мадлен де Межен посадили в карету и отвезли в сопровождении полицейского агента в суд, к тому же господину Веленсу.

– Вы обвиняетесь в оскорблении действием полицейского комиссара и в сопротивлении властям, – сказал ей судебный следователь, приглашая сесть, – признаете ли вы себя виновной?

– Властям я не сопротивлялась, а нахала-комиссара действительно чем-то облила, но он сам вызвал это своим неприличным и недостойным мужчины и чиновника поведением...

– Так-с... – задумчиво произнес судебный следователь. – А что вы скажете мне о господине Савине?

– Ничего положительно сказать не могу.

– Почему?

– Потому, что никакого я Савина не знаю...

– Да-а-а... Я говорю о том господине, который арестован вместе с вами.

– Так это маркиз Сансак де Траверсе, а не Савин... Я повторяю и вам, что сказала комиссару и прокурору: «Вы ошиблись...»

Таким образом молодая женщина выдержала и вторую атаку опытных судейских.

Она знала, что ей грозит тюрьма, суд, скандал, но что могло все это значить в глазах любящей женщины, когда она надеялась этим спасти любимого человека.

– Вы настаиваете на этом объяснении? – сказал следователь.

– Какое же другое я могу дать? – вопросом отвечала Мадлен.

– В таком случае, мне придется подвергнуть вас личному задержанию до суда...

Ни один мускул не дрогнул на красивом лице молодой женщины.

Судебный следователь написал постановление о содержании Французской гражданки Мадлен де Межен в женской тюрьме «Petit Cannes», куда ее тотчас же и отправили с тем же полицейским агентом.

Все случившееся в этот злосчастный день так удручающе подействовало на бедную Мадлен, так ошеломило ее, что она, в сущности, не могла усвоить для себя, понять хорошенько свое настоящее положение.

Она помнила только то, что говорил ей Савин, и старалась показывать то, чему он научил ее.

«Это его спасет!» – вот мысль, которая доминировала в ее голове.

О себе она совершенно забыла. Ее «я» как бы не существовала.

После же допроса следователя и объявления им ей о том, что он отправляет ее в тюрьму, на нее нашел какой-то столбняк.

Она впала с этого момента в какое-то забытие, обратилась в живого истукана, не понимая совершенно, что с ней делается, отвечая на вопросы как-то машинально и двигаясь только по закону инерции.

Очнулась она и пришла в себя только тогда, когда почувствовала какую-то особую перемену во всем ее окружающем.

Она сначала не могла понять, что с нею, куда она попала?

Она чувствовала, что дышит какой-то новой, неизвестной ей до сих пор атмосферой, что ее обдает чем-то затхлым, спертым.

Кругом ее все было как-то чуждо, незнакомо. Даже свет был как будто не тот, который она привыкла видеть до сих пор.

Прежде всего ее поразил именно этот странный, как будто исходящий сверху свет.

Она стала вглядываться и заметила высоко над собой окно какой-то маленькой, необычайной для ее глаз формы, с какими-то поперечными полосами.

От окна ее блуждающий взгляд перешел к чистым белым стенам, к деревянному столу и табуретке, к затворенной массивной двери.

Сама она лежала на какой-то жесткой постели.

Вглядываясь во всю эту странную, незнакомую обстановку, она стала как бы пробуждаться от сна, стала припоминать о случившемся.

Она с ужасом поняла, что она в тюрьме. Ее охватило отчаяние и она горько заплакала.

Слезы всегда действуют благотворно на потрясенный организм. Поплавав, человеку всегда становится легче на душе, возбужденные нервы успокаиваются и мысли проясняются.

Так случилось и с Мадлен.

Поплавав, она почувствовала облегчение и вспомнила ее последний разговор с Савиным, его надежды на благоприятный исход дела и его просьбу к ней быть энергичной и не падать духом.

Одновременно с этими, более спокойными мыслями, молодая женщина почувствовала страшную усталость, чего она до сих пор не чувствовала, ее охватило одно желание – отдохнуть, уснуть и Мадлен, действительно, вскоре уснула.

Какая благодетельная вещь сон для несчастных заключенных. Во время сна они не только отдыхают телом и душой, но и забывают все свои несчастья, все, что их мучает, главное, то ужасное положение, в котором они находятся.

Проснувшись Мадлен уже на другое утро, когда к ней вошла надзирательница, принеся ей кружку кофе и булку.

Она ласково расспросила молодую женщину о деле, приведшем ее в тюрьму и, узнав подробности, воскликнула:

– Так это сущие пустяки!.. Вы не долго у нас погостите... Я даже думаю, что хороший адвокат может выхлопотать вам освобождение под залог до суда сейчас же...

Это напомнило Мадлен де Межен совет Савина обратиться немедленно к хорошему адвокату и к французскому консулу.

– Действительно, а я и позабыла, дайте мне бумаги, конвертов, чернила и перо, я тотчас же напишу адвокату и консулу. Да, кстати, кто у вас здесь лучший адвокат, к которому вы посоветовали бы мне обратиться?..

– Все для письма я вам доставлю сейчас, – ответила надзирательница, – но должна вас предупредить, что все письма, исключая писем к адвокату, должны быть распечатанными, так как их до отправки читает директриса тюрьмы. Только к адвокатам письма не читаются... Что же касается хороших адвокатов, то я могу назвать вам их несколько: Янсен, Фрик, сенатор Робер, Стоккарт, – все это знаменитости, но кто из них лучше, трудно сказать... Я знаю только, что берут они очень дорого и говорят на суде очень красноречиво.

С этими словами надзирательница вышла и вскоре возвратилась со всеми принадлежностями для письма.

Мадлен де Межен еще раз попросила назвать ей имена адвокатов, записала каждое имя на отдельной бумажке и, свернув их в трубочки, вынула одну из них.

На бумажке стояло имя Стоккарта.

Она написала ему и французскому консулу, а затем принялась за длинное и осторожное письмо к Николаю Герасимовичу, в котором старалась его успокоить насчет своего положения. Письмо она адресовала маркизу Сансак де Траверсе.

Эта корреспонденция рассеяла ее немного и сократила то нескончаемое время, которое так убийственно тянется в тюрьме.

Так прошло все утро, и когда она позвонила, чтобы передать надзирательнице письма, было уже обеденное время.

– Как вы желаете кушать, казенный обед или же выпишите из ресторана? – спросила ее надзирательница, взяв письмо.

Этот вопрос об обеде заставил вспомнить Мадлен, что она уже второй день ничего не ела, даже до принесенного кофе с булкой не дотронулась.

Аппетита у ней и теперь не было никакого, но все же нельзя было не есть и надо было разрешить вопрос об обеде.

Она попросила любезную надзирательницу послать за обедом в ресторан.

Час спустя та же надзирательница принесла заказанный обед и бутылку красного вина.

– Покушайте-ка, моя милая, да пойдите погулять... У нас есть садик, и заключенные гуляют все вместе в продолжение двух часов. Там есть тоже порядочные дамы, можете с ними познакомиться и поговорить, это развлечет вас и рассеет.

Пообедав, Мадлен вышла из своей камеры, вместе с надзирательницей и отправилась на прогулку в сад.

Женская тюрьма «Petit Carmes» устроена в бывшем кармелитском монастыре, вследствие чего и носит это название и находится в центре Брюсселя.

Еще до окончания времени прогулки надзирательница пришла за Мадлен.

– Пожалуйста, к вам приехал адвокат.

– Стоккарт?

– Да.

Она проводила заключенную в комнату, предназначенную для свидания арестанток с их защитниками, и оставила ее с глазу а глаз с адвокатом.

Стоккарт был молодой человек, красивой наружности, элегантно одетый.

– Я только что получил от директрисы тюрьмы с нарочным ваше письмо и поспешил явиться, чтобы поскорее познакомиться с вами и успокоить вас, – сказал он Мадлен.

– Благодарю вас... Вам, конечно, надо рассказать, в чем дело.

– О, с делом я знаком, весь город говорит о нем, все газеты полны подробностями... Я, думая, что вам будет это интересно, захватил две газеты, в которых более талантливо, живо и подробно изложено ваше дело.

Он передал ей номера «L'Indépendance Belge» и «La Reforme».

– Что же будет нам за это? – спросила Мадлен.

– Да ничего страшного, – сказал Стоккарт, – особенно вам. Господину Савину, или маркизу де Траверсе, эта проделка обойдется подороже. К нему отнесутся строже, чем к вам, и его продержат, наверное, несколько месяцев в тюрьме, но вас я надеюсь оправдать...

Переговорив затем подробно обо всем и сделав нужные заметки Стоккарт перешел к вопросу вознаграждения.

За свою защиту он назначил тысячу франков с тем, чтобы половина была уплачена вперед.

Мадлен, конечно, согласилась и дала ему записку к хозяйке квартиры на улице Стассар, госпоже Плесе, в которой просила передать господину Стоккарту некоторые вещи, деньги и чековую книжку «Лионского кредита», находящиеся в сундуке.

Все это Стоккарт должен был привезти Мадлен и получить от нее чек на условленную сумму.

Она просила его также взяться за защиту Николая Герасимовича и, главное, устроить, чтобы его не выдали России.

Стоккарт обещал сделать все, что было в его силах, и дал слово на другой же день быть в тюрьме святого Жилия, а после свидания с Савиным заехать к ней и сообщить ей обо всем.

XIII

Два адвоката

Не зная, что Мадлен де Межен обратилась за советом к адвокату Стоккарту, Николай Герасимович со своей стороны написал адвокату Фрику.

Обратился он к нему потому, что узнал, что Фрик, кроме того, талантливый защитник, депутат палаты и принадлежит к крайней левой партии, то есть ультра-либерал и сотрудник оппозиционной газеты «Реформа».

Эта-то принадлежность Фрика к враждебной клерикальному правительству партии, могла быть очень полезна Савину.

В стране, где существует полная свобода печати и где каждый может критиковать в ней всякое неправильное действие правительства и его органов, Николаю Герасимовичу было далеко не дурно заручиться защитником, имеющим голос и влияние в либеральной прессе и могущим всегда громить правительство и возмущаться его неправильными действиями относительно его клиента.

Поэтому-то Савин счел Фрика самым подходящим для него в его положении защитником.

Кроме того, его рекомендовали Николаю Герасимовичу директор тюрьмы и тюремный священник – две совершенно противоположные личности, а между тем одинаково с уважением говорившие о Фрике.

Последний не заставил себя долго ждать и к вечеру того же дня, в который Савин послал ему письмо, ответил телеграммой, что будет в тюрьме на другой день утром.

В десять часов утра на следующий день он действительно явился.

Это был высокий, худой господин лет тридцати шести-семи, смуглый брюнет с довольно правильными чертами и весьма серьезным выражением лица.

– Я знаю кое-что о вашем деле из газет, – сказал он Савину, оставшись с ним наедине в комнате свиданий с заключенными, – но, конечно, нахожу это недостаточным, а потому прошу вас обстоятельно рассказать мне все дело.

Николай Герасимович подробно передал ему весь инцидент с полицией во время его ареста, рассказал о бесцеремонности полицейского комиссара, ворвавшегося в спальню и позволившего себе назвать «кокоткой» женщину, вполне уважаемую и не давшую ему ни малейшего повода к ее оскорблению.

Насчет же главного обвинения его в ношении чужого имени Николай Герасимович объяснил, что считает это абсурдом и придижкой со стороны полиции и судебных властей, так как никто на него не жаловался и не указывал как на лицо, носящее чужое имя.

– По-моему, полиции не было никакого повода доискиваться кто я такой, раз я ничего не сделал противозаконного и наказуемого в пределах Бельгии, – заметил Савин.

– Так-то оно так, – отвечал Фрик, – но все-таки я советовал бы вам, если вы можете, достать какие-нибудь документы, удостоверяющие вашу личность. Доказав, что полиция была не права в своих подозрениях, будет несравненно легче добиться оправдательного приговора по делу об оскорблении комиссара и агентов.

– Что же касается до госпожи де Межен, – добавил он, – то я уверен в возможности освободить ее под залог. Я побываю у нее, а также у французского консула, с которым я знаком и содействие которого будет очень важно для дела.

– А сколько времени может продлиться следствие и, значит, мое предварительное заключение? – спросил Николай Герасима вич.

– Положительно ответить я вам на это не могу, но, по моему мнению, долго оно продлиться не может, так как дело, в сущности пустое. Во всяком случае, пройдет недели две-три, а до суда и все шесть.

– Однако...

– Бояться вам этого нечего, так как по нашим законам предварительное заключение засчитывается в наказание, так что в случае приговора, положим, на месяц, вы будете освобождены немедленно, так как срок наказания будет уже вами отбыт.

Это было хотя и плохое, но все же утешение.

– А ваши условия?

– Насчет гонорара я вам ничего не могу сказать, я назначу себе вознаграждение, глядя по делу, я ведь не знаю еще, придется ли мне защищать вас одного или вместе с госпожей де Межен, в одной или в двух инстанциях. Я в этом отношении очень щепетилен, – добавил он – мое правило не обдирать клиентов, брать за свой труд, что следует по работе. Кроме того, я вижу, с кем имею дело, вы со мной, надеюсь, торговаться не будете, я не возьму с вас, поверьте мне, лишнего сантима.

На этом они расстались.

Адвокат произвел на Николая Герасимовича прекрасное впечатление.

Видно было, что это человек дела, а не пустой фразер, как большая часть адвокатов.

В душе Савина возникла сама собой какая-то уверенность, что имея его защитником, он будет оправдан, так как, наверное, суд смотрит на Фрика иначе, нежели на его коллег.

Вообще, Николай Герасимович был доволен, что обратился Фрику и встретил в нем такого серьезного и симпатичного человека.

В тот же вечер Савина посетил и Стоккарт.

Он привез ему записочку от Мадлен, которую она передала ему во время свидания.

Этот адвокат представлял из себя совершенно противоположный тип серьезному Фрику.

Он был чрезвычайно подвижный, живой, любезный господин, словом, «милый малый» и ничего больше.

Такое впечатление произвел он на Николая Герасимовича.

Наговорил он с три короба, обещал непременно оправдать Мадлен и выпустить ее на днях на свободу под поручительство.

Вообще заявил, что все уладит и даже устроит отказ бельгийского правительства на требование выдачи Савина России, если бы таковое требование поступило со стороны русских властей.

– У меня большие связи в министерстве, – хвастливо заявил он, – министр юстиции мой короткий приятель... Для меня это будет делом получаса дружеской беседы.

Николай Герасимович любезно поблагодарил тароватого на обещания адвоката.

– Мне крайне жаль, – сказал он, – что защиту свою я не могу поручить вам, так как, не зная, что Мадлен обратилась к вам, я вызвал господина Фрика, который был у меня сегодня и мы с ним кончили...

– Жаль, жаль... – проговорил Стоккарт.

– Но я чрезвычайно доволен, что Мадлен сделала такой удачный выбор и надеюсь, что вы не откажетесь употребить свое влияние в министерстве по вопросу о моей выдаче... Мы с Мадлен не останемся неблагодарными.

– О, конечно, вы можете быть покойны... – заявил Стоккарт. – Располагайте мной...

– Позвольте мне писать Мадлен через вас, чтобы мои письма не были читаны в тюрьмах.

– С величайшим удовольствием... Я даже посоветую госпоже де Межен посылать и свои письма к вам через меня.

– Я буду вам очень признателен за эту услугу... Кроме того, навещайте ее чаще и успокаивайте...

– Непременно, непременно... Но через несколько дней, ручаюсь вам, она будет на свободе... Я сделаю все возможное и даже невозможное.

С этими словами Стоккарт простился с Савиным и уехал.

Ровно через неделю после ареста Савина и Мадлен де Межен их снова повезли в здание суда.

Они должны были предстать перед синдикальной камерой судебных следователей, от власти которой зависело, по рассмотрении тяготеющих над ними улик, сохранить или отменить принятую судебным следователем меру пресечения уклоняться от следствия и суда.

Николай Герасимович знал заранее, что относительно его мера будет сохранена, но надеялся, что Мадлен выпустят, и эту надежду все время горячо поддерживал Стоккарт, уверявший, что непременно добьется ее освобождения.

Возили заключенных из тюрьмы в суд в больших тюремных каретах такой же формы неустройства, как парижские «*râmerai salade*» – разница была только в цвете.

В Париже эти кареты желтые, а в Брюсселе – темнозеленые.

Для заключенных, имеющих средства, с особого разрешения директора допускалось исключение: позволялось брать извозчицы карету на свой счет и ехать в суд в сопровождении жандарма.

Такое разрешение дано было и Савину, и он им пользовался во все время его содержания в Брюссельской тюрьме.

Уезжали все заключенные, требуемые в суд, в девять часов утра и находились там до шести часов вечера, то есть до окончания дела в суде и возвращения кареты в тюрьму.

Это делалось потому, что расстояние между тюрьмой святого Жилия и судом было очень велико, по крайней мере, четыре версты, и ездить по нескольку раз за арестованными было неудобно.

Вот почему их отвозили всех сразу, огульно, с утра.

Для заключенных это не только не представляло неудобств, а напротив, они были этому очень рады, так как в суде они находились все вместе, в большой светлой комнате, без всякого присмотра, кроме наружного, и могли болтать между собою и почывать, за чем хотели.

Жандармы, которым была поручена развозка арестантов и охрана их в суде, были прекрасные ребята, любезные, непридиричивые и редко в чем отказывали заключенным; так, например, для лиц более приличных они отводили отдельную комнату, приносили из ресторана завтрак, обед, вино и пиво.

В эти-то поездки в суд Николай Герасимович и виделся с Мадлен де Межен, которую впускали в ту же комнату, где он находился, и где они прекрасно проводили время целый день.

Первый раз он увиделся с молодой женщиной после разбора дела в синдикальной камере судебных следователей.

Устроил это свидание Стоккарт, ходивший к следователю гоподину Веленс и получивший от него на это разрешение.

Мадлен была страшно взволнована и, увидев Савина, бросилась, рыдая, в его объятия.

Тяжело было ему видеть в таком положении ту, которую он так страстно любил, но он старался скрыть свое волнение и своим спокойствием ободрить и утешить ее.

Синдикальная камера утвердила постановление судебного следователя и отказала освободить их обоих от предварительного ареста, основываясь на том, что они оба иностранцы и обвиняются в преступлениях, которые влекут за собою наказание свыше трех месяцев тюремного заключения.

Николай Герасимович был к этому подготовлен, но на Мадлен это произвело удручающее впечатление.

Радость свидания, однако, взяла свое, и они вскоре утешили возможностью провести друг около друга несколько часов и забыть свое горе.

Стоккарт сильно возмущался постановлением камеры и продолжал уверять, что он все-таки добьется освобождения Мадлен, подав жалобу в апелляционную палату.

Он пришел вместе с Мадлен и начал было без умолку болтать и рисовать радужные картины будущего.

– У русских, – заметил ему, улыбаясь, Савин, – есть пословица: «Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки». И я вас прошу, чем сулить освобождение из тюрьмы в будущем, освободите теперь нас от вашего присутствия... Мы так давно не были наедине.

– О, я понимаю, – воскликнул адвокат, – желаю вам лучших минут в жизни.

Он простился и вышел.

Впоследствии, как и надо было ожидать, апелляционная палата не уважила жалобы Стоккарта, и Мадлен де Межен должна была пробыть в тюрьме до суда.

XIV

План защиты

Во время тех же поездок в суд Николай Герасимович Савин познакомился с двумя очень милыми людьми: депутатом бельгийской палаты Ван-Смиссенем, обвинявшемся в убийстве своей жены из ревности, и французом графом Дюплекс де Кадиньян – любовником этой убитой мужем женщины, который, увлекшись ею, наделал в Брюсселе более миллиона долгов, а после ее смерти уехал в Ниццу, не расплатившись со своими кредиторами и поднадув несколько простаков-бельгийцев, почему и был привлечен к суду за мошенничество.

Бежавшего из Брюсселя от долгов графа арестовали у рулетки в Монте-Карло, где он спускал последние золотые, занятые у бельгийских ростовщиков.

Конечно, мужа убитой и ее любовника вместе не сводили, так как Ван-Смиссен был в состоянии задушить графа, или, по крайней мере, покуситься на его жизнь.

Николай Герасимович видел их обоих порознь, и оба были очень приятные собеседники.

Ван-Смиссен был очень умным и образованным человеком, известным депутатом палаты и принадлежал к клерикальной партии, которая сильно его поддерживала и добилась в конце концов после двух обвинительных приговоров присяжных кассации обоих их и третьего оправдательного приговора.

На третьем суде присяжные признали, что он совершил преступление в исступлении, доведенный до этого возмутительным поведением и распущенностью своей жены.

Это оправдание последовало уже после отъезда Савина из Бельки, и он узнал о нем из газет, но в то время, когда Николай Герасимович с ним встречался, он был приговорен к пятнадцатилетнему заключению в тюрьме и дело его находилось по его кассационной жалобе в кассационном суде.

Насколько счастливо кончилось дело мужа, настолько несчастливо закончилось дело любовника.

Граф де Кадиньян был признан виновным в восемнадцати мошенничествах, а так как, по бельгийским законам, наказание полагается не одно по совокупности, как в России, а за каждое преступление полагается отдельное наказание, то бедный граф был приговорен к восемнадцати наказаниям, по три месяца одиночного заключения каждого, что составит весьма почтенную цифру в четыре с половиною года одиночного заключения.

Следствие между тем над Савиным и Мадлен де Межен шло своим порядком.

Надо заметить, что следствие в Бельгии ведется по французской системе, то есть следователь старается всячески запутать обвиняемого разными неожиданностями, вымышленными сведениями и даже запугиванием.

При этом следственное производство не предъявляется обвиняемому, так что до суда ему не известны ни показания свидетелей, ни другие собранные сведения и материалы следствия.

Правда, что защитнику разрешается рассматривать документы и все относящиеся к делу во всякое время и брать из него копии, но все-таки такое сокрытие от обвиняемого подробностей следствия крайне неправильно и неблагоприятно для интересов обвиняемого.

Последний становится в полную зависимость от защитника и в суде играет роль совершенной пешки.

Также было и с делом Николая Герасимовича.

Вскоре после вручения Савину обвинительного акта он получил повестку о выезде в суд исправительной полиции, и в тот же день его посетил его защитник – Фрик.

Фрик привез с собою целую кипу разных документов и выписок, относящихся к делу, чтобы познакомить с ними Николая Герасимовича и установить план защиты.

Следствие обнаружило и установило разными допросами свидетелей и полицейских властей в Париже, Ницце, Берлине и Дусбурге, которым была предъявлена фотографическая карточка Савина, что он, действительно, то лицо, которое проживало во Франции и Германии под именем русского офицера Николая Савина, который был арестован по требованию русских властей и впоследствии бежал.

Таким образом, отрицать тождество маркиза де Траверсе с Савиным было невозможно.

– Мой совет вам – сознаться откровенно и этим сознанием расположить судей в свою пользу, – сказал Фрик Николаю Герасимовичу.

Но Савин не согласился с этим мнением, он находил необходимость во что бы то ни стало доказать свою невиновность по обвинению в ношении чужого имени, так как от этого зависел весь дальнейший ход дела.

Самое важное для Николая Герасимовича было и чего он больше всего боялся, это его выдачи России, по поводу которой уже началась переписка между бельгийским правительством и русским посланником в Бельгии.

Из дела и собранного материала не было, однако, ничего положительного о его личности из России. Даже посланная его фотографическая карточка в Петербург и Калугу не была никем узнана, и в бумаге, присланной из России, было сказано, что хотя в присланной фотографической карточке и есть что-то сходное с личностью Савина, но положительного никто ничего не мог определить.

Николай Герасимович находил, что этот ответ из России имел большое значение для защиты.

– Поставим лучше защиту на такую почву, – заметил он Фрику, – я скажу, что в Бельгии я ношу свое имя маркиза де Траверсе, а во Франции и Германии жил, действительно, под чужим именем Николая Савина. Причины, заставившие меня так поступить, – политические идеи моего отца и нежелание его, чтобы я служил в войсках республики. Этой неаявкой моей к призыву я поставил-де себя в нелегальное положение в моем отечестве – Франции – вследствие чего и не мог жить там под своим именем, что и заставило меня для поездки во Францию взять паспорт на имя одного моего приятеля русского офицера Савина. Мне кажется, что такая защита имеет достаточно прочные основания, тем более, что у нас есть свидетель, в лице Мадлен, а у обвинения ничего нет положительного, чтобы разбить наши доводы и доказать, что я живу теперь под чужим именем.

Он остановился и посмотрел на Фрика.

Тот слушал его с большим вниманием, но молчал.

– Удайся нам убедить суд, – начал снова Николай Герасимович, – что я действительно проживал во Франции, а не в Бельгии под чужим именем, добейся я таким образом оправдательного приговора по обвинению в ношении чужого имени, тогда если я и буду обвинен по делу об оскорблении полиции, то под именем маркиза де Траверсе, а не Савина, и этот приговор суда будет мне служить самым лучшим доводом против требуемой Россией моей выдачи: требуют не маркиза де Траверсе, а Савина, с которым я в силу уже приговора бельгийского суда, ничего общего иметь не буду... Разве это не так?

– Так-то, пожалуй, и так... Я понимаю, что для вас такое решение очень важно и готов построить защиту на этой почве, но должен предупредить вас, что она очень зыбка, и если защита не удастся, что очень возможно, суд вас не пощадит и присудит к высшей мере наказания... Примите в расчет и это.

– Или пан, или пропал, будь что будет... Я не отступлюсь от этого плана, а вас освобождаю от ответственности за решение суда... Вы меня предупредили.

– Да, главное, помните, что я вас предупредил... План очень остроумен, но, повторяю, и очень рискован.

– Кто не рискует, тот не выигрывает.

– Хорошо, так будем держаться этого плана.

Вскоре Фрик уехал.

Настал наконец день суда.

За несколько дней перед этим в нескольких брюссельских газетах появились коротенькие заметки, извещавшие публику, что в такой-то день назначено к слушанию в суде исправительной полиции дело о маркизе Сансак де Траверсе, он же Савин, и его любовнице Мадлен де Межен, причем, конечно, не было забыто прибавление разных пикантных подробностей о личностях обвиняемых, а также говорилось, что по распоряжению судебных властей дело это, ввиду его интереса, будет разбираться в большом зале суда и что публика будет допускаться только по билетам.

Конечно, такого рода реклама привлекла в суд не мало желающих присутствовать на таком судебном бенефисе, и огромный зал суда был битком набит самой фешенебельной брюссельской публикой.

Особенно много было представительниц прекрасного пола, жадных, как известно, до такого рода представлений.

За полчаса до появления Савина и Мадлен перед судом, в комнату, где они оба находились, явились оба защитника, одетые уже в своих длинных тогах и круглых шапочках.

Пришли они, чтобы сделать, говоря театральным языком, генеральную репетицию.

Все их внимание, конечно, было обращено на усвоение Мадлен ее роли.

Они по очереди разъясняли ей все, что она должна была отвечать на вопросы, могущие ей быть предложенными судом и обвинительной властью.

Когда наконец режиссер – судебный пристав – пришел за подсудимыми, то они уже были готовы для отражения всякой атаки со стороны их общего врага – прокурора – и спокойно, даже торжественно, вошли в зал заседания, где и заняли места впереди своих защитников.

Скамьи подсудимых, как у нас и во Франции, в Бельгии нет.

Там суд помещается на особой эстраде, немного возвышенной над остальной частью залы.

Эта эстрада отделена от публики решеткой, и за эту решетку входят только участвующие в деле лица, не исключая свидетелей, которые входят по одному, по вызову председателя суда.

Свидетели дают свои показания, сидя в кресле, стоящем напротив председательского места.

Стоя говорят только обвиняемые, их защитники и прокурор.

При входе в зал подсудимых взоры всей публики обратились, конечно, на Мадлен де Межен, которая была удивительно хороша и эффектна в этот тяжелый для нее день.

На ней было черное шелковое платье без всякой отделки, прекрасно обрисовывавшее ее роскошные формы.

Ее золотистые волосы были высоко зачесаны вверх по последней моде а la Marie Antoinette, что придавало ей поразительное сходство с королевой-мученицей, на которую она и без того была очень похожа.

Об этом сходстве не раз писали парижские газеты в более счастливые для нее времена, и это не ускользнуло и теперь от собравшейся публики – в столь аналогичном положении молодой женщины с ее двойником, королевой.

Шепот восторга по ее адресу пронесся по залу.

В публике произошло движение.

Когда оно несколько успокоилось, председатель суда спросил, обращаясь к подсудимым:

– Признаете ли вы себя виновными в возводимых на вас поступках?

И Савин, и Мадлен де Межен отвечали отрицательно.

– Господин судебный пристав, пригласите свидетелей! – приказал председатель.

Свидетели были полицейский комиссар Жакобс и полицейские агенты, присутствовавшие при аресте обвиняемых.

Показания их относились только к факту оскорбления их подсудимыми, то есть к обвинению в неповиновении властям и оскорблении должностных лиц.

Что касается до обвинения Савина в ношении чужого имени, то по этому делу свидетелей никаких не было, а были прочитаны разные показания, данные официальными лицами во Франции и Германии.

Из этих показаний выяснилось тождество маркиза Сансака де Траверсе с проживавшим в этих странах арестованным и бежавшим русским офицером Николаем Герасимовичем Савиным.

Когда чтение этих показаний окончилось, председатель обратился к подсудимому:

- Не желаете ли вы что-нибудь объяснить по этому поводу?
- И даже очень много.
- Это ваше право.

В зале, переполненном публикой, наступила вдруг такая тишина, что можно было услышать полет мухи.

XV

На суде

– Я маркиз Сансак де Траверсе, а не Савин, – начал среди торжественной тишины, воцарившейся в зале суда, Николай Герасимович свое объяснение, – но должен признаться суду, что, действительно, проживая долгое время во Франции под именем русского офицера Николая Савина, был выдан французским правительством России и бежал от французских и прусских властей. Так что я сам не думаю даже оспаривать мое тождество с господином Савиным и признаю совершенно правильными все данные во Франции и Германии показания, которые были только что прочтены, но при этом считаю своим долгом разъяснить суду те причины, которые меня заставили проживать под чужим именем во Франции.

Дед мой покинул Францию во время первой революции и эмигрировал в Россию. Там он женился на дочери тоже французского эмигранта, от которой у него родился в первых годах нынешнего столетия сын – мой отец. Он, как и дед мой, остался французом, хотя всю свою жизнь прожил в России. Женился он на француженке, умершей в момент моего появления на свет. Я, единственный его сын, воспитывался в России, но остался, как и отец мой, французским гражданином. Отец мой как ярый роялист не признает теперешнего французского правительства, а потому не позволил мне явиться к призыву и служить во французской армии. Это нарушение военных законов по воле моего отца поставило меня на нелегальную почву по отношению к Франции, и я как нарушитель этих законов подвергаюсь, если буду застигнут в пределах Франции, наказанию до двух лет тюрьмы и зачислению на законный срок службы в армию по отбытии наказания. Вот эта причина и заставила меня жить во Франции под чужим именем, уехал же я из России во Францию несколько лет тому назад потому, что меня давно тянуло в эту дорогую моему сердцу страну. Я не мог удержаться от желания видеть эту милую Францию, родину моих предков. Но проживать под своим именем мне было невозможно, так как я наверно подвергся бы наказанию и этим самым убил бы старика-отца. Он даже согласился на мой отъезд только с тем, что я ни под каким видом, ни при каких обстоятельствах не обнаружу во Франции мое настоящее имя. Вскоре я получил известие о его смерти, но данная мною клятва не была им разрешена. Вот причины, побудившие меня назваться и жить в продолжение нескольких лет под именем Савина. Взял я это имя и документы на жительство от моего школьного товарища и друга русского гвардейского офицера Савина. Нас обоих во Франции никто не знал, а лета и приметы его вполне подходили к моим.

Приехав во Францию, я скоро познакомился с некоторыми проживающими там русскими и благодаря моему знанию русского языка был введен ими всюду и представлен как их соотечественник, русский офицер Савин. Моя веселая, даже расточительная жизнь в Париже и Ницце дала мне скоро некоторую известность, про меня часто писалось в газетах: о моих лошадях, выездах, об огромных выигрышах и проигрышах в карты и дуэлях.

Вот эта известность и сослужила мне дурную службу, довела меня до всех неприятностей, перенесенных мною, и того положения, в котором я теперь нахожусь. Дело в том, что в то время, когда я жуировал во Франции с господином Савиным, чье имя я носил, случилось несчастье: в России против него были возбуждены разные уголовные и политические преследования, ему пришлось покинуть родину и бежать в Америку. Об этом я знал из его писем ко мне, но не обратил должного внимания. Конечно, мне нужно было тогда же покинуть Францию и вернуться в Россию, но, увлеченный парижской жизнью, связанный делами и любовью, я этого не сделал. Несчастно сложившиеся обстоятельства бросили меня в тот омут, из которого я до сих пор не могу вынырнуть. Дело в том, что полтора года тому назад дела мои сильно пошатнулись вследствие проигрыша моего в карты более миллиона франков, пошли долги и другие неприятности.

В июне прошлого года я имел столкновение в Париже с полицией и, будучи в раздражении, побил полицейского комиссара, за что и был арестован.

Газеты разнесли эту весть по всей Европе. Об этом узнали, конечно, и в России. Русские власти, получив сведения об аресте в Париже того Савина, которого они давно уже искали, потребовали его выдачи. Что было мне делать? Заявить французским властям, что я не Савин, а французский маркиз де Траверсе, нарушивший французские военные законы, и тем избежать выдачи России? Но этим самым я отдавался добровольно в руки французского правосудия, не только по этому нарушению военного закона, но также и по другим преступлениям, вытекающим из моего проживания под чужим именем, как, например, подписи разных актов и долговых обязательств, что могло быть легко подведено под преступление «подлога» и, кроме того, изменить данной моему отцу клятве.

Вот на основании этих-то соображений я решился не только не противиться моей выдаче из Франции, но даже старался ускорить ее. Я видел всю опасность моего фальшивого положения и мне нужно было во что бы то ни стало покинуть французскую территорию как можно скорее. В России мне бояться было нечего, так как не я был преследуем, а Савин. Так я думал первое время, а затем, поразмыслив, увидел, что обнаружение и в России ношения мне не принадлежащего имени, да еще лица, как оказалось потом, скомпрометированного, может повлечь за собою обвинение в соучастии и во всяком случае следствие, во время которого меня будут держать в русской тюрьме. Представление о последней только по наслышке бросало меня в жар и холод даже во время содержания в европейских тюрьмах. Это-то и побудило меня бежать, чтобы избежать страшной русской тюрьмы. Первое мое бегство было учинено мною во Франции, и я вскоре снова был арестован в Ницце и вторично выдан по требованию русского правительства. Второй раз я бежал от немцев в бытность мою в больнице в Дуйсбурге, после чего я и проехал через Голландию в Бельгию.

Здесь, в Брюсселе, не имея надобности скрываться и опасаться носить принадлежащую мне фамилию, я с радостью сбросил с себя чужое имя, которое наделало мне столько неприятностей. И вот теперь это законное присвоение принадлежащего мне имени приводит меня снова к ответственности и к новым неприятностям! Посудите сами, господа судьи, и вы поймете, что это очень грустно, но вместе с тем и очень смешно! Переходя затем к обвинению меня в неповиновении властям и в оскорблении их, я считаю, что так поступить я был вынужден неправильными действиями и грубостью со мною комиссара. Он был груб не только по отношению меня, но и по отношению к женщине, которую я люблю и уважаю и которая не подала ему ни малейшего повода к ее оскорблению. Разве благовоспитанный и порядочный человек позволит себе врываться в спальню женщины? Разве он позволит себе называть женщину кокоткой, да еще толкать ее? Правда, что это сделал полицейский чиновник, от которого можно все ожидать, но полицейский чиновник, поступающий так, должен всего ожидать. Я не отрицаю факта оскорбления мной комиссара и его агентов, но надеюсь, что суд поймет, что я был вынужден на это гнусным поведением самой полиции. А потому прошу принять это во внимание и отнестись к ним с присущей вам справедливостью.

Савин кончил.

Речь его произвела видимое впечатление на публику, зажужжавшую как пчелиный рой; что же касается до судей, то на их беспристрастных лицах нельзя было прочесть ничего.

На губах прокурора играла саркастическая улыбка.

– Госпожа де Межен, не пожелаете ли дать суду свои объяснения? – обратился к Мадлен председатель.

Снова в зале все стихло.

– Я со своей стороны, – начала молодая женщина, – должна прежде всего подтвердить все то, что сейчас говорил маркиз де Траверсе. Все, что он сказал – чистейшая правда, и мне, как близкой ему женщине, уже в течение двух лет это было хорошо известно. По обвинению же

меня в оскорблении комиссара я не отрицаю факта этого оскорбления и даже очень сожалею о моей горячности, но думаю, что менее виновата я, нежели тот, который довел меня до такого самозабвения и раздражения неприличным поведением по отношению ко мне как к женщине. Вы сами, господа судьи, мужчины, и я ни на минуту не сомневаюсь, что каждый из вас в душе осуждает такое отношение к женщине, кто бы она ни была. Вот все, что я имею вам сказать, господа судьи.

– Ваше слово, господин обвинитель, – обратился председатель к прокурору.

Последний, тот самый, который в день ареста допрашивал Мадлен в полицейском бюро, встал, откашлялся и, выпив глоток воды из стоявшего на его пюпитре стакана, начал:

– Господа судьи! Способ защиты, избранный подсудимым, именуящим себя французским маркизом Сансаком де Траверсе, нельзя не признать весьма оригинальным, остроумным и даже очень удачным. Я, признаюсь откровенно, не ожидал такой постановки защиты, но, тем не менее, она меня не смущает, и я убежден, что сумею доказать всю неправдоподобность рассказа обвиняемого, а следовательно, и полную его виновность в возводимых на него преступлениях. Да и на самом деле. Вы, люди жизни и опыта, вы легко поймете, что человек, берегающий чрезвычайно разумный, логический довод для своего оправдания к последней минуте, к заседанию суда, не имел, значит, его в своем распоряжении ранее. Этот довод – плод его ума, соглашусь, недюжинного, плод его тюремного досуга. Следовательно, он выдуман. Если бы предстоящий перед вами подсудимый действительно был маркиз де Траверсе, он, конечно, с самого начала следствия поспешил бы указать таких лиц, которые знали его до проживания по имени Савина, то есть лиц, знавших его не во Франции, а в России, где он родился и жил почти до тридцатилетнего возраста.

Для доказательства истины обвиняемому нечего было совеститься дать эти указания судебным властям, и если, как он говорит, он боялся скандала, то теперь этот скандал стал неизмеримо крупнее, чем был бы тогда, когда бельгийские власти послали бы через русские власти допросить его родственников и знакомых. Обвиняясь еще он в чем-нибудь, порочащем его честь и доброе имя – дело было бы другое, но он обвиняется в ношении чужого имени, что не представляет ничего позорного для чести и доброго имени, а потому он спокойно мог дать все эти указания судебному следователю. Теперь же на его словах, как не могущих быть проверенными, нельзя основать судебного решения, тем более, что свидетельские показания, данные во Франции и Германии разными лицами, знавшими его под именем Савина, достаточно удостоверяют, что он именно и есть русский офицер Савин, а не маркиз де Траверсе.

Я надеюсь, что суд в этом со мною согласится. Показаниям же госпожи де Межен не может быть дано веры, так как суду хорошо известны отношения к ней обвиняемого, его любовь и преданность ему. Что же касается обвинения обоих подсудимых в оскорблении словами и действиями полицейского комиссара и агентов полиции, а также в сопротивлении властям, то все это доказано и не отрицается самими обвиняемыми. О чем же тогда говорить, как не о применении закона?

Я полагал бы назначить Николаю Савину наказание в высшей мере, так как он уже не впервые оказывает сопротивление властям и оскорбляет их, как в России, так и во Франции, что видно из приложенной к делу переписки. Относительно же Мадлен де Менен, в виду ее молодости и доказанного раздражения, я полагал бы возможным дать ей снисхождение.

Я кончил.

XVI

Приговор

После речи прокурора слово было предоставлено защитнику Николая Герасимовича – адвокату Фрику.

– Всякое обвинение, – начал он, – должно быть основано не на предположениях, а на фактах. Без этих фактов, доказывающих виновность обвиняемого, всякое обвинение падает и не может найти поддержку в глазах суда. Мой клиент обвиняется в ношении чужого имени, но чем это доказано и кто подтвердит это? Из собранных доказательств и свидетельских показаний видно, что мой клиент проживал во Франции под именем Савина, но и сам обвиняемый не отрицает этого. Но это разве доказывает, что он действительно Савин? Вот этого-то доказательства обвинительная власть и не представляет, а потому суд не обязан ей безусловно верить на слово. Почему же нам не верить рассказу обвиняемого, по моему мнению, вполне правдивому? В этом рассказе нет ничего неправдоподобного и невозможного, и кроме того он вполне подтверждается показаниями госпожи де Межен. Господин прокурор, не имея в своем распоряжении ни одного подтверждающего его предположения доказательства, старается выбить у нас таковое.

Обвинитель говорит, что обвиняемой госпоже де Межен не может быть дано веры, так как она состоит к моему клиенту в известных отношениях. По моему мнению, отношение и любовь госпожи де Межен к маркизу де Траверсе не могут служить к опорочиванию ее показаний, тем более, что закон обязывает суд принимать в соображение все доказательства, клонящиеся к оправданию или вообще служащие в пользу подсудимого. Но кроме показаний госпожи де Межен у нас, к огорчению прокурора, еще один важный аргумент, аргумент документальный, свидетель, по счастливому выражению одного судебного оратора, не знающий лжи – это сообщение русских властей, не узнавших в посылаемом им портрете моего клиента – разыскиваемого ими Савина. Правда, в сообщении этом говорится, что в присланной фотографии есть некоторое сходство с Савиным, но между сходством и утвердительным признанием личности целая пропасть, а мы не можем предположить, чтобы русские власти, разыскивающие и преследующие Савина, не знали бы его, или не нашли бы лиц, знающих его настолько, чтобы дать положительный ответ.

Будь еще господин Савин человек малоизвестный, уехавший давно из России, тогда дело было бы другое, но господин Савин был русским гвардейским офицером, имевшим множество знакомых, друзей и товарищей, могущих его узнать. При этом он покинул пределы своего отечества весьма недавно, так что не мог уже настолько измениться, чтобы его не узнали в посылаемой фотографии. Все это, конечно, доказательства, служащие в пользу обвиняемого и разбивающие все необоснованные и шаткие доводы обвинителя. Повторяю, что суд при обвинении человека может только основываться на положительных фактах, а не на предположениях, а раз таких положительных данных против обвиняемого нет, то суд не может произнести обвинительного приговора, а потому я и прошу суд оправдать моего клиента по этому пункту обвинения. Что же касается до обвинения маркиза де Траверсе в оскорблении полицейского комиссара и сопротивлении властям, то я нахожу, что в данном случае полиция сама вынудила его к этому своими неправильными действиями и грубыми поступками. Обратись к обвиняемому со своими требованиями господин комиссар вежливо, предъяви он ему сразу приказ прокурора, без которого никто не может быть арестован, а главное, не позволяй он себе врываться в его спальню и оскорблять ни в чем не повинную и вполне уважаемую женщину, то, конечно, ничего бы не случилось. Но явное нарушение закона и приличий со стороны самого же представителя власти вызвало прискорбный инцидент, служащий ныне предметом судебного разбирательства. Это-то обстоятельство и позволяет мне поднять свой голос в защиту

маркиза де Траверсе и если не требовать от суда полнейшего его оправдания по этому пункту обвинения, то ходатайствовать о снисхождении и о назначении ему наказания в низшей мере.

Последним встал Стоккарт.

– Господа судьи! – сказал он. – Не впервые вам приходится разбирать такого рода дела, в которых фигурирует оскорбленная полицейская власть. Наверное, не ускользнуло от вашего опытного судейского взгляда то обстоятельство, что большая часть таких дел была вызываема грубостью и какой-то особою, только одной полицией усвоенной наглостью. Не проявляя полиция в обхождении с людьми этой грубости и наглости, конечно, было бы устранено много скандалов и дел подобных настоящему. Когда же наконец полиция поймет, что такое поведение с ее стороны не только предосудительно, но и противозаконно? Закон для всех один, и кому же он должен быть более известен, как не полиции. Она как блюстительница порядков и применения законов, конечно, обязана первая подчиняться ему. Этот пример уважения закона может только благотворно отразиться на массе и принесет, конечно, несравненно больше пользы, чем все наказания, налагаемые судом, в настоящем деле эта профессиональная наглость полицейских чиновников проявилась во всем ее блеске. Она прямо возмутительна.

Обвинитель говорит вам, что для него оскорбление властей и сопротивление им со стороны обвиняемых ясно доказано, но неужели не ясно доказано для него и возмутительное поведение самих якобы оскорбляемых? Я удивляюсь, как до сих пор виновный в грубости и наглости полицейский комиссар Жакобс не привлечен к ответственности! Во всех странах мира женщина пользуется особым уважением, и чем страна стоит на высшем уровне развития и цивилизации, тем это чувство уважения к женщине в ней развитее. Оскорбление женщины мужчиной считается не только предосудительным, но даже низким, позорным и в некоторых случаях наказуемо очень строго. Если общественное мнение порицает и суд наказывает так строго за такого рода проступок частных лиц, то как же они должны порицать лиц официальных, настолько забывающихся, что позволяют себе во время исполнения своих служебных обязанностей оскорблять женщину, тем более, не давшую на это ни малейшего повода, как было в данном разбираемом нами случае.

Следствием установлено, что комиссар Жакобс, не удовольствовавшись тем, что вошел в спальню госпожи де Межен, которая в то время находилась в постели, но позволил себе назвать ее кокоткой. Будь она таковой и то он не имел бы права так выражаться, но госпожа де Межен никогда кокоткой не была – это вполне честная и порядочная женщина. Связь с маркизом де Траверсе не может служить ей упреком. Сколько мы видим в настоящем веке женщин, живущих честно и вполне безупречно, не будучи замужем. Теперь не те времена, когда смотрели на такую связь неблагоприятно и, конечно, жить с человеком и быть кокоткой – огромная разница. Таким образом, грубость комиссара была не только возмутительна, но и не основательна. Но это словесное оскорбление еще ничего в сравнении с таким гнусным поступком, который господин комиссар позволил себе в отношении обвиняемой. Когда он возвратился вторично в квартиру маркиза де Траверсе с приказом об его аресте, он потребовал, чтобы ему отворили дверь спальни, где находились в то время маркиз и госпожа де Межен, и это его требование было немедленно и беспрекословно исполнено.

Значит, ему не было никакой надобности прибегать к силе, что все-таки было им сделано. По его приказанию на маркиза напали до десяти полицейских и стали с ним грубо обращаться. Весьма понятно, что такое поведение полиции относительно любимого человека страшно возмутило и взволновало любящую женщину. Она в сильнейшем отчаянии, со слезами бросилась к комиссару, умоляла его освободить от такого насилия любимого человека, но он вместо вежливого отказа грубо и бесчеловечно оттолкнул ее от себя. Тогда, не помня себя от негодования и горя, несчастная женщина в состоянии самозабвения схватила первую вещь, попавшуюся ей под руку, оказавшуюся ведром с грязной водой, и облила ею господина Жакобса. Эта прохладительная ванна, заменив отсутствие, видимо, весьма для него нужных начальственных

головомоек, несколько осадил его полицейский нрав. Маркиза де Траверсе освободили от висящих у него на руках и ногах полицейских и отправили в полицейскую префектуру. Этот поступок госпожи де Межен, несомненно, наказуемый, но, принимая во внимание, что обвиняемая была вынуждена на это возмутительным поведением самого оскорбленного и что она находилась в состоянии самозабвения от нанесенного оскорбления, ей нельзя вменить в вину ее поступок, а тем более наказывать ее за него. А потому я убежден, что суд, приняв все мои доводы в соображение, вынесет французской гражданке Мадлен де Межен оправдательный приговор.

По окончании речи Стоккарта председатель обратился по очереди к обоим с вопросом:

– Не имеете ли вы что-либо еще сказать в свое оправдание?

И Савин и Мадлен ответили отрицательно.

Суд удалился в совещательную комнату.

В зале все пришло в движение.

Несмолкаемый говор начался во всех ее концах. Дамы стали лорнировать Савина, мужчины Мадлен. Начались споры, догадки об исходе процесса, как это всегда бывает в эти томительные минуты для обвиняемых.

Совещание суда длилось часа полтора.

Наконец суд вышел и председатель громко, отчетливо прочитал следующий приговор:

«Рассмотрев дело русского подданного Николая Савина, именующего себя маркизом Сансаком де Траверсе и французской гражданки Мадлен де Межен, обвиняемых: первый в проживании под чужим именем и оба в оскорблении на словах и в действии полицейских властей и в неповиновении сим властям, – брюссельский суд исправительной полиции определил: Николая Савина подвергнуть заключению в тюрьме сроком на семь месяцев и штрафу в пятьсот франков, а Мадлен де Межен подвергнуть тюремному заключению на два месяца и штрафу в двести франков, обоих же по отбытии наказания отвезти за границу, с запрещением возвращения и проживания в пределах Бельгийского королевства в продолжение одного года. В виду того, что Мадлен де Межен отбыла уже свое наказание временем, проведенным ею до суда в предварительном заключении, ее из-под стражи немедленно освободить, но обязать подпискою выехать из пределов Бельгии в течение суток, по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если таковая не будет подана».

– Госпожа де Межен, вы свободны! – добавил председатель, обращаясь к Мадлен.

Радостная улыбка разлилась по лицу Николая Герасимовича; он забыл о предстоящих ему месяцах тюрьмы, его радовало освобождение любимой им женщины.

Обвиняемых увели из зала суда.

Было около четырех часов дня, так что им оставалось еще два часа пребыть вместе до отъезда в тюрьму, ему – дабы остаться там еще долгое время, ей – чтобы исполнить формальности освобождения.

Эти два часа показались им мгновением.

XVII

Отъезд Мадлен

Конечно, Савин и Мадлен подали апелляционные жалобы на определение суда исправительной полиции.

Последняя, чтобы остаться в Брюсселе, а первый в надежде добиться оправдательного приговора по делу о ношении им чужого имени и во всяком случае уменьшения наказания, так как суд приговорил его к высшей мере, указанной в законе.

Выйдя из тюрьмы, Мадлен де Межен поселилась на старой их квартире, у госпожи Плесе.

Квартира эта была самая подходящая, так как улица Стассар находилась невдалеке от тюрьмы святого Жилия, и близость эта позволяла Мадлен часто бывать у Николая Герасимовича.

Этим частым свиданиям способствовал добрейший директор тюрьмы, позволивший Мадлен бывать у Савина ежедневно и видеться наедине в запертой адвокатской приемной.

Конечно, при таких условиях эти свидания сильно обрадовали любящих друг друга людей и позволяли им излить всю нежность чувств, накопившуюся во время их разлуки и обобщного заточения.

Но кроме нежностей и ласк, во время этих свиданий они также, конечно, обсуждали свое горькое положение.

Обманывать себя и льстить какими-нибудь несообразными надеждами было нечего.

Мадлен советовала ему подчиниться судьбе и в случае его выдачи из Бельгии в Россию, не стараться бежать, а сделать все, что от него зависело, чтобы скорее выпутаться из дел и доказать свою невиновность.

– Видно уж так суждено, ничего не поделаешь, – уговаривала она его, – повинуйся силе и закону, а я помогу тебе переносить твою горе.

Савин вполне сознавал справедливость суждений молодой женщины, но ему невыносимо тяжела была перспектива пребывания в России.

Надейся он по приезде туда быть свободным до окончания его дела, тогда бы вопрос был иной.

Но он наперед знал, что озлобленные против него судебные власти ни в каком случае не согласятся освободить его до суда и ему придется томиться еще долгое время в предварительном заключении, да еще в русской тюрьме.

Это-то и ужасало его и заставляло придумывать новые способы избавления.

В благополучном исходе его дела в России, то есть в его оправдании судом по всем возводимым на него обвинениям он не сомневался ни минуты, но до этого суда и дня его освобождения была целая бездна – долгие месяцы тюрьмы и связанная с ними разлука с той, в которой было все его блаженство, все его счастье, вся его жизнь.

Правда, Мадлен де Межен соглашалась, по приезде его в Россию, немедленно туда приехать и жить там в ожидании его освобождения.

Но что же это была за жизнь?

Видеть друг друга через решетку тюрьмы.

Николай Герасимович смотрел на вещи несколько иначе, чем Мадлен.

Его ничто не тянуло в Россию, ничто его более не связывало с ней.

К чему ему было томиться долгие месяцы в тюрьме, переносить новые испытания и мучения, не приводящие ни к какому положительному результату.

Приходило ему, конечно, на мысль, что если новое бегство не удастся, то волей-неволей ему придется покориться судьбе, но сделать этого добровольно он не решался.

Обсуждали они этот животрепещущий для них вопрос почти ежедневно, и это весьма понятно, потому что от него зависели вся их будущность и их счастье.

При этом Николай Герасимович считал нужным обсудить его заранее вместе с Мадлен, пока она была с ним до рассмотрения дела в апелляционной палате и ее тогда обязательного отъезда.

По правде сказать, Савин уже не надеялся на благоприятный исход их апелляционной жалобы и заранее был уверен, что палата утвердит приговор суда первой инстанции.

Мадлен же наоборот, как неопытная и увлекающаяся женщина, под влиянием уверений пустозвона Стоккарта, возлагала большие надежды на палатское решение, рассчитывала даже на оправдание Савина и его освобождение.

Он не разбивал этих грез, но и не разделял их.

Прошло около месяца.

Дело было назначено в палате к слушанию в конце октября.

Газеты снова заговорили о Савине и Мадлен де Межен, и они стали готовиться к этому новому бенефису: Николай Герасимович к более убедительной защите перед палатой, Мадлен де Межен к тому, чтобы удивить брюссельскую публику своим туалетом.

Для женщины, особенно парижанки, туалет – все, и никакое положение не может заставить ее забыть о нем.

Хотя у Мадлен была пропасть вещей и туалетов с собою, но она не могла выдержать соблазна и не выписать себе от своей модистки из Парижа m-me Vernaux новую осеннюю шляпку специально ко дню суда.

Но ни парижская шляпка Мадлен, ни защита Савина, ни даже красноречивая речь Стоккарта не помогли. Палата утвердила приговор суда первой инстанции и им пришлось, скрепя сердце, подчиниться этому решению: Савину досиживать его срок, а Мадлен Де Межен на другой же день покинуть Бельгию.

Всякий хорошо поймет, как тяжело отозвалось в их сердцах это палатское решение.

Их снова разлучили, и впереди у них была туманная картина неизвестности.

Прощаясь, они не знали, на сколько времени они расставались, когда и где свидятся.

Эта-то неизвестность и была ужасна.

Мадлен уезжала обратно в Париж, но не думала там остаться, а хотела уехать к своей кузине, живущей в Нормандии, и жить в деревенской глуши, ожидая решения судьбы любимого ею человека.

При прощании она передала Николаю Герасимовичу банковый билет в пятьсот франков, который должен был оказать ему услугу в случае его нового бегства, но умоляла его быть осторожнее, не рисковать жизнью и помнить, что она всегда останется его и придет всюду, где бы и в каком положении он ни находился, хотя бы и сосланным на поселение в сибирскую тундру.

Видя отчаяние Савина, молодая женщина старалась всячески утешить, поддержать его.

В эти тяжелые для них минуты, она находила не только силы для перенесения своей личной скорби, но и для поддержки падающего духом Николая Герасимовича.

Только любящая душа несет горе так, как несла его эта женщина, и одни женщины так выносят его.

В женской половине человеческого рода заключены великие силы, ворочающие миром.

И действительно, ее гордость действовала на Николая Герасимовича благотворно, пока она была с ним, но как только она уехала, чаша страдания его переполнилась.

Нестерпимо стало ему его томительное одиночество.

Всякие несуразные мысли лезли в голову и не давали покоя ни днем, ни ночью.

Все надежды, которые до сих пор его поддерживали и давали силу переносить все его несчастья, сразу как-то разрушились.

Он перестал в них верить: они стали ему казаться какой-то несообразной, неисполнимой химерой.

Перед ним предстала та ужасная картина разочарования жизнью, которая впервые зародила в нем мысль покончить с собою, оставить этот мир материальных забот и тревожений.

Будь у него в тот момент возможность добыть яду или револьвер, он, быть может, ни на минуту не задумался бы пустить их в ход.

Но эта невозможность добыть средства к своему собственному уничтожению оставила его в живых для перенесения новых и новых страданий.

Видно, такова была его судьба!

В это-то время, находясь постоянно один, сам с собою, под влиянием томящего его горя, он впервые стал вдумываться в философские и социальные вопросы.

До тех пор, по правде сказать, никогда подобные мысли не приходили ему в голову и он не выходил за рамки тех эгоистических мыслей, которые более всего присущи каждому человеку.

Благодаря уединению и горьким испытаниям, в нем пробудились новые, совершенно ему не известные чувства.

Страдания научили его мыслить и заставили его забыть отчасти свое собственное «я», открыв ему глаза на ту мировую картину страдания и гниль европейского общественного устройства, которых он до тех пор не видел, которые в эгоистическом наслаждении жизнью его не интересовали.

Чем больше он вглядывался в эту грустную картину, тем сильнее развивалась в его уме мысль о злобах и невзгодах человеческой жизни.

Он стал предаваться этим возродившимся, совершенно новым для него мыслям с каким-то особенным увлечением.

По целым часам просиживал он в глубоком раздумье, доискиваясь причины недостатков человеческого общества и их устранения и, конечно, ничего не доискался.

Эти размышления были, однако, первыми шагами к его самоперевоспитанию, и он стал смотреть на вещи совершенно другими глазами, чем прежде.

Его прежние взгляды во многом диаметрально изменились.

Конечно, эти доводы и размышления могли только подготовить благодарную почву для его далекого будущего, но не утешить в настоящем.

Это настоящее оставалось по-прежнему ужасным, ближайшее же будущее представлялось еще ужаснее.

XVIII

Выдача России

Вскоре после отъезда Мадлен де Межен Николая Герасимовича Савина снова вызвали в апелляционную палату.

Там был назначен разбор требования, предъявленного русскими властями к бельгийскому правительству о выдаче Савина России.

В Бельгии все такого рода требования о выдаче, предъявленные иностранными государствами, передаются сначала на рассмотрение апелляционной палаты, которая их рассматривает с юридической точки зрения.

В заседание вызываются стороны, то есть заслушивают заключение прокурора и возражения требуемого лица или его защитника, после чего палата определяет: следует ли согласиться на выдачу или нет.

Это определение палаты, основанное на законах страны и трактатах, заключенных с иностранными державами, предъявляющими свои требования, служит гласным основанием для дальнейшего решения высшего правительства, от которого зависит окончательное решение.

Но это решение всегда бывает в том смысле, как это мотивирует в своем решении палата.

Очевидно, что для Николая Герасимовича от этого решения зависело все, а потому адвокат последнего – Фрик – принял все меры, чтобы убедить палату отказать русской миссии в предъявленном требовании о выдаче Савина.

– В деле, – говорил Фрик перед палатою, – отсутствует совершенно доказательство тождества требуемого лица. Русские судебные власти не потрудились их представить. Требуется Савин, а не маркиз Сансак де Траверсе, и кроме того, при требовании, присланном из России, нет точного описания примет Савина, а по фотографической карточке маркиза де Траверсе, посланной из Брюсселя в Россию, русские власти не узнали разыскиваемое ими лицо. Все это, по моему мнению, представляет достаточные основания, чтобы отказать в требовании о выдаче, тем более, что все дело разгорелось от несомненной ошибки бельгийской полиции, которая, будучи уверена, что нашла на след Савина, на том основании, что маркиз де Траверсе проживал под этим именем во Франции, сообщила о его аресте русским властям и этим самым побудила их просить о его выдаче. Русские власти таким образом были введены в ошибку и если и требовали выдачи Савина, то при этом полагались на полную компетентность бельгийских властей, как в вопросе о тождестве арестованного лица с разыскиваемым ими Савиным, так и в вопросе о самой выдаче. Русские власти не входят ни в какие подробности по этому делу и требуют выдачи именно того лица, которое они разыскивают, то есть Савина. На основании этого я считаю, что выдачей маркиза де Траверсе, лица не требуемого и не имеющего ничего общего с тем лицом, которого разыскивает Россия, будет оказана не услуга дружественному государству, а сделана только неприятность.

Выслушав речь защитника, палата удалилась для совещания и после довольно продолжительного времени вынесла свое определение, по коему находила, что преступления, по которым Николай Савин обвиняется в России, входят в число тех преступлений, по которым, в силу имеющегося между Бельгией и Россией трактата, выдача должна состояться. По отношению тождества лиц, по мнению палаты, не может быть и речи, так как в силу решения бельгийского суда, вошедшего в законную силу, подлежащее выдаче лицо было признано за Николая Савина, а не за маркиза де Траверсе, а таковое решение обязательно для всех бельгийских судов.

В силу этих соображений палата находила, что Николай Савин должен быть выдан по требованию русских властей по отбытии им в Бельгии наказания, к которому он приговорен.

После такого решения палаты Николаю Герасимовичу не оставалось ничего более, как дожидаться окончания срока его тюремного заключения.

Срок этот истекал в конце января, так как, в силу бельгийских законов, одиночное заключение как наказание более строгое дает скидку семи дней в месяц против обыкновенного тюремного заключения.

Таким образом, вместо семи месяцев, к которым он был приговорен, он освобождался по проществу пяти месяцев и одиннадцати дней, считая и время, проведенное им в предварительном заключении.

Ко дню отбытия им наказания все формальности по отношению его выдачи были уже исполнены, и он должен был быть отвезен на германскую границу для передачи прусским властям, которые должны были отправить его далее в Россию без всякой задержки.

За два дня до отправки к Николаю Герасимовичу зашел директор тюрьмы, чтобы предупредить его об этом отъезде и кстати с ним проститься.

Савин в горячих выражениях поблагодарил господина Стевенса.

Отъезд Николая Герасимовича был назначен рано утром, и в этот день его пришли разбудить в четыре часа утра.

В конторе тюрьмы он застал несколько человек, которые тоже отправлялись на германскую границу.

Всех их посадили в развозную тюремную карету и отвезли на станцию железной дороги.

Там их уже ожидал вагон, в котором они были помещены.

От Брюсселя до прусской границы около четырех часов езды, и Николай Герасимович со своими невольными спутниками приехали на границу в десять часов утра.

При выходе арестантов из вагона их передали ожидавшим их прибытия прусским жандармам, которые повели их со станции в город, в полицейское управление, для соблюдения необходимых формальностей.

По опросе арестованных и по проверке их документов полицией, приехавших с Савиным, кого освободили, кого отправили в тюрьму, а его оставили в полицейском управлении до отхода вечернего поезда, с которым он должен был отправиться далее через Берлин в Россию.

Зная, что никакие его протесты не приведут ни к какому результату, он, по приезде на прусскую территорию, перестал именоваться чужим именем и стал для прусских жандармов тем же Herr Leitenant, каким был семь месяцев тому назад до его бегства из Дуйсбургской больницы.

Хотя Николай Герасимович и не любил пруссаков, но должен был отдать им полную справедливость, что хотя они хорошо знали, что он именно тот русский, который два раза уже бежал и последний раз бежал от них же, пруссаков, но никакой вражды или грубых действий по отношению к нему они не применили и были с ним безукоризненно вежливы, так что голландским и бельгийским полицейским властям хорошо бы поучиться вежливости у этих по репутации «грубых» пруссаков.

Единственная мера строгости, принятая ими теперь против Савина, была посылка с ним вместо одного жандарма, как прежде, двух.

По дороге он разговорился и познакомился ближе со своими спутниками, жандармскими вахмистрами, Зюсом и Фингером.

Они кое-что уже знали об арестанте из газет и интересовались прежде всего узнать от него, правда ли, что он один из вожаков нигилистической партии в России.

Конечно, Николай Герасимович постарался их разубедить в этом, объяснив им, что это чистейшая газетная утка, что он никогда нигилистом не был, да и вообще нигилистов в России почти нет.

Затем у них завязался разговор о политике, об организации армий, как русской, так и германской, и о социальном вопросе, так сильно интересующем всех в Германии.

Николай Герасимович был просто поражен образованием этих двух прусских солдат, в особенности Фингера, изумлявшего его своими дельными суждениями и всесторонней начитанностью.

Встреть Савин этого человека в другой обстановке, никогда бы он не предположил, что это простой прусский солдат.

На другой день в четыре часа они прибыли в Берлин. Здесь им пришлось ждать отходящего поезда на Торн и Александрово до половины двенадцатого ночи. Николай Герасимович со своими спутниками воспользовались этим временем, чтобы сходить в баню и хорошо пообедать в ресторане недалеко от вокзала.

При отъезде из Берлина Савина и его провожатых снова поместили в отдельное купе, в котором они благополучно доехали до русской границы. Чем ближе подъезжали к Александру, тем более Николая Герасимовича охватывало какое-то особое волнующее и томительное чувство.

Ему было тяжело, совестно находиться в таком положении и быть привезенным на родину прусскими жандармами.

На этом прервались воспоминания Николая Герасимовича, или лучше сказать, были прерваны.

Он очнулся.

Ужасы русской тюрьмы и этапа уже были в прошедшем.

Камера дома предварительного заключения была не хуже брюссельской. Перед ним стоял смотритель и приглашал в контору.

– С вами желают видеться.

– Кто?

– Дама...

Сердце Николая Герасимовича тревожно забилося. «Уж не Мадлен ли?» – мелькнуло в его уме. Он поспешил за помощником смотрителя. При входе в контору он остановился пораженный.

Перед ним стояла Зиновия Николаевна Ястребова.

XIX

Великосветский притон

Полковница Капитолина Андреевна Усова была вдова.

Три года тому назад она приехала в Петербург и устроилась очень скромно.

Да и вообще, ее дела были тогда не блестящи.

Муж ее, стоявший все время с полком в глухой провинции, оставил ей только скромную пенсию и двух дочерей, из которых старшей было около семнадцати лет, а младшей едва минуло двенадцать.

Вскоре, однако, она заняла большой дом-особняк на Большом проспекте Васильевского острова, через несколько домов от дома, принадлежавшего покойному Аркадию Александровичу Колесину – горячему поклоннику несравненной Маргариты Гранпа, когда-то бывшей невесты Николая Герасимовича Савина, и участнику в первом возбужденном против последнего уголовном деле о разорвании векселя Соколова, предъявленного Вадимом Григорьевичем Мардарьевым.

Обстановка дома Усовой была роскошна, одевалась она с дочерьми по последней моде, и почти каждый вечер у нее были гости. Вообще по роду жизни она казалась женщиной очень богатой.

Года через полтора после разнесшейся по Петербургу вести о смерти Николая Герасимовича Савина под колесами железнодорожного поезда у бельгийской границы, в один из зимних вечеров к Капитолине Андреевне Усовой собрался небольшой кружок близких знакомых.

К парадному подъезду подкатили элегантные сани, из которых вышли два молодых человека и вошли в крытый подъезд дома.

Это были граф Петр Васильевич Вельский и его приятель Владимир Игнатьевич Неелов. Молоденькая хорошенькая горничная открыла им дверь.

Поцелуй Неелова ее совсем не обидел.

– Никого еще нет? – спросил граф.

– Нескольких дам уже в гостиной, – ответила горничная, лукаво улыбаясь.

– Графа Стоцкого нет?

– Его, кажется, ждут.

Сняв верхнее платье, оба гостя вошли в залу, а затем и в гостиную.

Опытный глаз увидел бы сразу, что дамы, собравшиеся в этой комнате, не принадлежат к высшему обществу.

Хозяйка дома, высокая, худая женщина, лет тридцати пяти, сильная брюнетка, была еще интересна.

По ее манере было видно, что она умеет вращаться в порядочном кругу.

Ее соседка слева, которую Неелов назвал «ваше превосходительство», была немногими годами моложе.

По наружности она составляла полную противоположность хозяйке.

Это была блондинка с очень нежным цветом лица и голубыми глазами.

Полное, круглое лицо дышало здоровьем, а очень открытая шея, высокая грудь и круглые, белые руки дополняли картину этого возможного для человека здоровья.

Третья, сидевшая с работой в руках, была старшая дочь хозяйки, Екатерина Семеновна.

Она была высока и худа, как мать, но во всем остальном ничуть на нее не походила.

Темнорусые волосы, искусно завитые, красивое, выразительное, немного смуглое лицо, дерзкий взгляд – в общем, во всем ее существе, было мало женственности, разве только маленький ротик с белыми, как слоновая кость, зубами, как бы созданный для поцелуев.

Около нее сидела красивая, миниатюрная молодая девушка лет семнадцати.

Когда вошли молодые люди, она, краснея, опустила глаза на работу и боязливо подняла их только тогда, когда Неелов взял ее за руку.

– Как мило с вашей стороны, дорогая Марья Петровна, что вы опять приехали. Я боялся, что выходка старого генерала вас так рассердила, что мы не будем иметь удовольствия вас видеть...

При воспоминании о генерале девушка снова покраснела.

– Увидим мы сегодня вашего обожателя, барона?

– Я его жду.

– А если он не придет, никого другого вы не осчастливите вашим вниманием? На время, конечно?

Она взглянула на него, не то стыдливо, не то испуганно.

– С вами будет то же, что с генералом, – вмешалась хозяйка. – Вы поссоритесь с Мусей.

– При чем тут я, я разве виноват, что барышня сегодня так хороша, что воспламенит коренного жителя Лапландии. Честное слово, Марья Павловна, вы очаровательны. Разрешите поцеловать вашу ручку и тем выразить вам мое поклонение.

Он наклонился к ее плечу.

– Владимир Игнатьевич, перестаньте!.. – воскликнула она, вне себя от гнева.

Никто не вступился за бедняжку.

Все смеялись над ее испугом, а полная блондинка даже заметила:

– Вы должны быть снисходительны, Владимир Игнатьевич, хорошему тону учатся постепенно.

– Теперь барон всецело владеет ее сердцем, – добавила хозяйка. – Но придет время – и для других окажется там местечко.

– Вы очень скоро заметите, что ваш возлюбленный слишком холоден... – заметила Екатерина Семеновна.

– Слишком холоден? Это, пожалуй, еще хуже, чем слишком стар, – распространялась ее превосходительство. – Мне знакомо и то, и другое.

– Зачем же вы вышли замуж за такого старика? – спросила Екатерина Семеновна. – Вы должны были знать заранее, что его объятия не будут очень жарки.

Граф Вельский сел в кресло, не обращая ни малейшего внимания ни на этот в высшей степени странный разговор, ни на красоту дам, которые, видимо, старались нравиться.

Екатерина Семеновна подошла к нему, нежно отвела руку, которой он закрывал лицо, и спросила смеясь:

– Что с вами, граф? Вы сидите, точно молодой, который первый раз поссорился со своей женой.

– Вы попали не в бровь, а прямо в глаз! – воскликнул Неелов. – Супружество гнетет его! Отныне он должен быть занят только своей женой; прекрасные молодые девушки теперь больше не для него; разве только те, которые играют в карты, могут еще интересовать его.

Все рассмеялись этой шутке.

Екатерина Семеновна своими огненными глазами вопросительно взглянула на графа и, наклонясь близко к его уху, прошептала:

– А я думала провести сегодняшней вечер с тобой, или я тебе надоела?

– Охота вам слушать чушь, которую несет Неелов! – отвечал громко граф. – Я очень озабочен одним делом, о котором не имею права говорить вам. Ну, да мы создадим веселое настроение! Нельзя ли вина? Екатерина Семеновна, не споете ли вы?

– Вот это дельно! – воскликнул Неелов. – Вино и песни веселят дух.

Молодая девушка села за рояль, а горничная вскоре принесла вина.

Раздался звонок.

– Слава Богу – это Сигизмунд! – воскликнул граф Вельский. Он не ошибся.

Горничная доложила, что приехал граф Стоцкий и барон Гемпель.

Глаза хорошенькой блондинки загорелись счастьем. Не успел граф Стоцкий поздороваться с дамами, как граф Вельский подошел к нему, взял его под руку и отвел в сторону.

– Сигизмунд, – сказал он, – я в большом затруднении.

– Какого рода?

– Мне не хватает денег.

– Ведь ты получил на днях значительную сумму от своего отца, чтобы купить свадебный подарок невесте.

– Совершенно верно, но большую часть этих денег я проиграл вчера у Матильды.

– Скверно.

– Не придумаешь ли, где бы еще найти кредит? Ты ведь знаешь, что в день моей свадьбы я расплачусь со всеми.

– Так-то так, да везде уже много взято.

– Ну, приблизительно сколько?

– По меньшей мере, ты должен около ста тысяч...

– Постарайся достать еще десять тысяч. Я готов на всякие жертвы.

– Попытаюсь. Но, может быть, ты сегодня выиграешь; я сейчас устрою игру. Если ты вернешь проигрыш, то тебе не надо нового кредита, а если проиграешь, ну, тогда, я помогу тебе устроиться со свадебным подарком.

– О, мой дорогой друг, ты снова даешь мне надежду. Так я могу на тебя положиться?

– Не беспокойся. Как тебе нравится сегодня Катиш?

– Я был так занят до сих пор самим собою, что не обращал на нее внимания и только теперь вижу, что она очень мила... Она приглашала меня на свидание в своем будуаре, я, пожалуй, пойду.

– Почему это «пожалуй»?

– А потому, что с тех пор, как я увидел маленькую лесную нимфу, она не выходит у меня из головы; все прочие женщины, будь они настоящие Аспазии, для меня теперь безразличны.

Граф Стоцкий самодовольно улыбнулся.

– Может быть, мы скоро ее увидим здесь? Остальное устроится само собою. Будь нежен с Катей, это тебя рассеет... Иди к ней в будуар... Там уже, без сомнения, подан чай... Барон уже исчез давно со своей Муськой, следуй его примеру. Как только явится князь Асланбеков, я устрою игру и дам тебе знать.

– Хорошо, я иду.

Он направился к Екатерине Семеновне и что-то шепнул ей на ухо.

Через минуту они исчезли из гостиной.

В то время, когда Сигизмунд Владиславович искал случая остаться наедине с хозяйкой, вошел князь Асланбеков.

Это был человек лет сорока пяти, сильный брюнет, коренастый и широкоплечий. На его лице, обросшем бородой, можно было разглядеть только черные глаза и толстый тупой нос.

«Генеральша» – так звала полковница Усова толстую блондинку – тотчас заняла его разговором.

Неелов что-то наигрывал на рояле.

Граф Стоцкий тем временем отвел в сторону хозяйку и о чем-то тихо с ней разговаривал.

– Четвертая улица Песков, дом 8... Вы не забудете номер?

– Нет, нет, – ответила Усова. – У кого она находится?

– У своего дяди – чиновника Костина.

– Я уже сделаю свое дело.

– Не забудьте, что дело это очень трудное... Эта Клавдия – очень добродетельное дитя, и ее родственники очень зорко следят за ней.

– Ничего... Не такие дела кончались хорошо...

– Если удастся, вы получите тысячу рублей, а если все пойдет хорошо, то сумма будет удвоена... За этим не стоим.

– Положитесь на меня... На днях она будет здесь... Я дам вам знать...

– Тсс... Вот генерал... Он, конечно, ищет вас.

Капитолина Андреевна поспешила навстречу новому гостю. Сигизмунд Владиславович подошел к роялю и облокотился на него, как бы слушая фантазии Неелова. На самом же деле голова его была занята совершенно иным.

Тот, которого Стоцкий назвал генералом, был старик лет семидесяти. Он был совершенно сед и держался сторбившись, но походка была еще достаточно тверда, а темные глаза горели из-под густых седых бровей. Он рассчитывал прожить еще лет двадцать и очень горевал, что часто его не вовремя беспокоил кашель.

– А для меня здесь никого нет, моя дорогая? – спросил генерал, садясь возле хозяйки.

– Я жду каждую минуту даму, которая, клянусь вам, победит ваше сердце.

– Гм... Молода?... Хороша?..

– Конечно! Я ведь знаю ваш изысканный вкус... Софи привезет молодую особу... Советую только одно...

– Что, моя дорогая?..

– Не набрасывайтесь опять, как сумасшедший! Марья Павловна все еще боится вас из-за прошлой сцены... Надо идти к цели постепенно. Рим построен не в один день, ни одно дерево не падает с первого удара топора. Заметьте это.

– Вы правы, любовь моя... Вы упомянули о маленькой Мусе. Разве она здесь?

– Конечно! Но она там, в кабинете, со своим поклонником. Подождите немного, когда она надоест барону, тогда вам будет легче, потому что, – тоном поучения сказала полковница, – от початого хлеба всегда легче отрезать, чем от целого.

Старик утвердительно кивнул головой.

– Вы всегда правы, моя дорогая, – сказал он, – но знаете, кто мне больше всех нравится?

– И не подозреваю.

– Ваша младшая дочь! Она прелестна.

– Да, она будет красавица, – согласилась Капитолина Андреевна с материнской гордостью.

– Вы не скоро еще введете ее в общество?

– Нет, ведь ей нет еще и пятнадцати лет, а кроме того, я обязана ее воспитанием...

Полковница наклонилась к уху генерала и что-то сказала шепотом.

– Зачем вы на это согласились?..

– Как зачем?! Я желаю как можно лучше устроить судьбу моей Верочки.

– Пустяки... Я тоже очень богат и устроил бы ее судьбу лучше...

Кашель помешал ему закончить, а хозяйка воспользовалась этой минутой и поспешила к князю Асланбекову, который начинал скучать.

– К черту, Неелов! Перестаньте барабанить, – ворчал князь. – Сегодня разве не будут играть? Я думаю, нам нечего стесняться, потому что в настоящую минуту нет ни одной интересной женщины.

– Терпенье, ваше сиятельство, – умиловляла его хозяйка, – мы ждем еще одну особу. Но если желаете играть, в маленькой гостиной столы готовы, и «генералыша», конечно, пойдет с вами. Не желаете ли, Сигизмунд Владиславович? Прошу вас, Владимир Игнатьевич.

– Начинайте, господа, я сейчас, только сообщу остальным, – сказал граф Стоцкий.

Барону было нечего говорить, он входил в эту минуту в гостиную под руку с маленькой блондинкой.

Генерал рванулся было подойти, но ему не удалось.

Она простилась и ушла.

Барон проводил ее до передней.

– Жалко, дитя мое, что вы не можете остаться дольше. Теперь только начинается здесь веселье...

– Боже сохрани! Позже десяти часов. О, если бы знали мои родители!

– Так до свидания!

XX

Старый знакомый

– Если ты желаешь, – сказал через дверь Сигизмунд Владиславович, подойдя к будуару Екатерины Семеновны, где находился граф Вельский, – сейчас начнут играть.

Задвижка двери будуара щелкнула. Граф Стоцкий вошел.

– Пожалуйста, оставьте его еще здесь... – попросила молодая девушка.

– Это как он хочет.

Будуар Екатерины Семеновны был, разумеется, лучше, чем игорная зала.

Мебель была обита зеленым бархатом, мягкая кушетка так и манила к себе, запах шипра приятно щекотал нервы, свет зеленого фонаря так благотворно действовал на зрение, шаги по полу, покрытому пушистым ковром, были не слышны.

Менее страстному игроку и в голову не пришло бы покинуть это уютное гнездышко, даже если бы его не удерживали прекрасные глаза молодой девушки.

– Я вернусь, – сказал граф Петр Васильевич.

– Честное слово? – сказала она.

– Даю...

– Хорошо, тогда я буду вас ждать. Не заставляйте только меня скучать слишком долго.

– Сколько у тебя денег с собой? – спросил граф Стоцкий, когда они вышли из будуара.

– Полторы тысячи.

– Дай Бог, чтобы тебе посчастливилось.

Они вошли в игорную залу.

Неелов метал банк.

Хотя он вообще обладал талантом вести разговор, но тут он превзошел себя.

Они говорили много и с одушевлением. Его *beaux-mots* поддерживали непрерывную веселость в обществе.

Вообще, разговаривать во время игры не в правилах игроков, у них позволено говорить только то, что относится до игры.

Он же весьма остроумно касался всего и делал это, видимо, с целью отвлечь внимание своих партнеров от игры, за которой сам следил в высшей степени зорко.

Маневр его удавался вполне: князь Асланбеков, генерал и другие играли рассеянno и проигрывали.

Граф Стоцкий подошел к столу и внимательно наблюдал за Нееловым, нисколько не смущаясь его болтовней.

Если Владимир Игнатьевич и помогал своему счастью различными вольтами, передергиванием карт и то есть и делал это, благодаря своим разговорам, незаметно, но, как только Сигизмунд Владиславович подошел к столу и поставил на первую карту, он сразу прекратил свои проделки.

Граф Стоцкий пристально посмотрел на Неелова. Тот кивнул в сторону графа Вельского. Сигизмунд Владиславович пожал плечами. Оба поняли друг друга.

Граф Петр Васильевич все проигрывал.

Граф Стоцкий играл счастливо.

Наконец Вельский сказал своему другу:

– Возьми мои деньги и играй за меня, мне сегодня не везет. Тут есть еще рублей восемьсот.

– Попробую, только ты не должен претендовать, если я не буду счастливее тебя.

– Я ведь не ребенок... Я лучше пойду к Екатерине Семеновне, чтобы не мешать тебе своим присутствием.

Когда он проходил по коридору, ему чуть не упала в объятия хорошенькая, молодая девушка, которая выбежала из гостиной. На лице ее было все: стыд, страх, отчаяние.

– Боже мой, куда ты меня привезла, Софи! Прочь, прочь! Пусти меня! – кричала она, рыдая и вырываясь из рук своей приятельницы, тоже довольно красивой молодой девушки, несколько постарше.

– Ты дурочка, – говорила последняя, – если старик и был слишком любезен, ну так что же? Он богат, а твоя мать в нужде. Пойдем назад и не ребячься.

– Никогда! Если бы мы все умерли от голода, то и тогда я не решилась бы спастись своим позором. Пусти меня.

Она захлопнула дверь и сбежала с лестницы.

Граф с первых же слов понял, в чем дело – девушка-новичок в салоне полковницы ускользнула из цепких лап хозяйки.

Такие сцены случались часто.

Часто убежавшие, после нескольких дней раздумья, возвращались, уже решившись на все.

Он вошел в зеленый будуар.

Екатерина Семеновна полулежала на кушетке.

Довольная улыбка озарила ее лицо.

Она рукой указала ему место около себя.

В маленькой гостиной между тем игра продолжалась.

Генерал, прервав было игру на некоторое время и удалившись в большую гостиную, возвратился с недовольным видом и снова стал играть и проигрывать.

– Проклятие, не везет ни в чем... – ворчал он, отдавая ставки. Сигизмунд Владиславович тоже проигрывал.

Выигрывал один Неелов, продолжая прибыльную для него болтовню.

Графа Стоцкого отозвала от стола Капитолина Андреевна.

– У подъезда стоит человек, который вас спрашивает. Я было приказала его прогнать, но он говорит, что для вас самих важно переговорить с ним.

– Вы не приказали спросить его имя?

– Он не хочет его сказать.

– Странно.

– Так позвать его?

– Нет, не надо.

Полковница ушла, но через несколько минут возвратилась снова с письмом в руке.

– Он велел передать вам это в собственные руки и сказал, что будет ждать ответа.

Граф Стоцкий разорвал конверт.

Письмо состояло всего из одной строки, но строка эта, видимо, была полна содержания.

Граф побледнел, как мертвец, и широко раскрытыми, полными ужаса глазами бессмысленно смотрел на Капитолину Андреевну. Та не на шутку перепугалась.

– Что с вами, граф, вам дурно? – бормотала она. Сигизмунд Владиславович пересилил себя, но все еще задыхаясь от охватившего его волнения, произнес:

– Проведите его в один из отдаленных кабинетов...

– Желтый... он свободен, – сказала Усова.

– Хорошо, я иду туда.

Он, шатаясь, вышел из маленькой гостиной.

Войдя в желтый кабинет, называвшийся так по цвету обивки мебели и портьер, граф Стоцкий бросился в кресло, закрыл глаза и схватился руками за голову.

В таком положении застал его податель письма, скромно одетый господин, брюнет, со смугло-желтым лицом, длинными усами и блестящими черными глазами, быстро перебежавшими с предмета на предмет.

– Здравствуйте, ваше сиятельство, – проговорил вошедший, подчеркнув титул. Сигизмунд Владиславович кивнул головой и жестом руки указал на стул.

– Нет... зачем же?... Нашему брату не полагается сидеть перед такими важными господами. Я и так много благодарен, что вы меня узнать изволили.

– Перестань ломаться, Григорий, – глухо проговорил граф. – Я тебя знаю, и ты меня знаешь. Зачем ты сюда явился? Тебе не следовало уезжать из твоего укромного уголка за границу. Здесь опасно.

– Совет хорош! И то сказать, фальшивомонетчика Григория Кирова схватят и упекут, а с важными господами, вроде графа Сигизмунда Владиславовича Стоцкого, так не поступают.

– Говори, скорей, что тебе нужно? Конечно, денег?

Киров спокойно поигрывал левой рукой своей часовой цепочкой и молчал.

Губы его были крепко сжаты, а в глазах светилась такая ненависть, что граф не выдержал его взгляда.

– Я не богат, – проговорил он, потупясь. – Но говори, сколько тебе нужно?

– Смахивает на то, что ты боишься меня, Станислав. Это ты напрасно. Я твой друг, да и самому мне не расчет отдать тебя в судейские лапы.

– Слушай, ты меня терзаешь! Говори сразу, что тебе нужно? Я сделаю все, что ты хочешь!

– На беду, я по опыту знаю, что обещать-то ты мастер, – насмешливо вымолвил Киров и задумчиво умолк.

– Говори, сколько тебе дать, чтобы ты навсегда уехал из России?

– Да что я, дурак, что ли? Это чтобы я сказал и России, и тебе: «Счастливо оставаться», а сам поехал бы бродить вдали от Родины. Нет, старый дружище, этому не бывать! Я останусь здесь и буду жить честно, то есть возложу на тебя приятную обязанность содержать меня. Не заставишь же ты старого друга голодать.

Граф Стоцкий так боялся взгляда этого человека, что не смел даже возмутиться его издевательством.

– Так будь же благоразумен, Станислав! – продолжал тот. – Тебе предстоит доставить мне все необходимое для жизни, приятной и спокойной. Там, вдали, я так истосковался о таком любящем сердце, как твое, что раз добравшись до него, я уже его не выпущу! А я хочу быть богатым и жить приятно. Ты у меня в руках и должен за это платить!..

– Да я с радостью... Только уезжай пока отсюда в какой-нибудь другой город.

– Но ведь тебе все равно придется вспоминать обо мне, – заметил Киров насмешливо. – Теперь твоя дружба для меня дороже твоих денег.

Он удобнее уселся в кресло и придвинулся ближе к графу Стоцкому.

– Моя дружба? – тревожно переспросил последний.

– Разумеется. Ведь она защитит меня от неприятных столкновений с полицией. Ведь друга высокочтимого графа Сигизмунда Владиславовича Стоцкого – и, как я надеюсь, впоследствии и графа Вельского, и всех этих господчиков твоих приятелей в высшем петербургском обществе – никто не осмелится даже заподозрить в чем бы то ни было.

– Ну, а средства для твоего существования?

– Средства? – повторил Киров и после довольно продолжительной паузы добавил: – Это ты...

– Я?!

– Да, ты... Завтра ты мне приготовишь пять тысяч рублей на первое обзаведение... Я буду у тебя в час дня...

– Пять тысяч!.. Но где я их возьму?..

– Если у тебя нет наличко, ты займешь... Завтра, в час дня, они должны быть в моем бумажнике, а не то...

– Хорошо, хорошо...

– Для того, чтобы предупредить тебя, я и побеспокоил тебя сегодня... А теперь до завтра... Желаю тебе счастливо играть и весело провести ночь...

– Но, послушай... – вскочил граф.

– Нечего и слушать... Завтра в час дня пять тысяч... до свиданья...

Киров медленно вышел.

Сигизмунд Владиславович остался один.

Несколько минут он был как бы в оцепенении, но затем встал, вздохнул полной грудью и вышел из кабинета.

Когда он возвратился в маленькую гостиную, он казался по наружности совершенно спокойным.

Игра продолжалась до утра.

Около четырех часов граф Стоцкий разыскал графа Петра Васильевича.

– Ну что, выиграл?

– Нет, все проигран.

– Плохо дело!

– Но ты дал слово выручить меня.

– И я сдержу обещание.

Гости разошлись.

Граф Вельский пригласил было Сигизмунда Владиславовича в свою карету.

– Благодарю. Я хочу немного пройтись, чтобы освежиться.

Он пошел с Нееловым.

– Сколько вы выиграли?

– Не слишком много. Должно быть, тысячи две.

– По моему счету – четыре, – заметил граф Стоцкий.

– Может быть.

– Вы поняли мой кивок?

– Конечно.

– Так половина выигрыша принадлежит мне, господин Неелов.

– Жаль мне делиться с вами. Если бы вас не было, я бы сделал то же, потому что из них никто ничего не видел.

– Да, но раз я был тут – моей обязанностью было помешать вам и спасти деньги друзей. Я этого не сделал. А потому прошу вас завтра утром прислать мне мою долю.

– Да будет так. Спокойной ночи.

Они разошлись в разные стороны.

XXI

Метаморфоза

Весь Петербург собрался на блестящий бал, который давал богач-банкир Корнилий Потапович Алфимов в своем великолепном доме на Сергиевской улице.

Все комнаты первого этажа были полны гостей.

Каждый из присутствующих мог найти укромное местечко или около роскошно сервированных буфетов, или в маленьких гостиных и кабинетах, где мягкие диваны и отоманки манили к сладкому отдыху.

В одной из первых зал хозяин, еще бодрый старик, элегантно одетый, встречал прибывающих гостей.

– Добрый вечер, барон, очень рад!.. Добро пожаловать, полковник, я уже боялся, что по случаю сегодняшнего парада вы не приедете... Очень приятно, ваше превосходительство!.. Где же ваша дочь? Болеет!.. Ах, как жаль...

Для каждого гостя у него находилось приветливое слово.

Никто бы не узнал в этом финансовом тузе Петербурга еще недавнего «миллионера в рубище» – дисконтера, заседавшего в низке трактира на Невском проспекте, попивавшего жиденький чаек за счет своих клиентов и питавшегося объедками, получаемыми им за несколько копеек из того же трактира.

Еще с небольшим год тому назад он жил в подвальном этаже в конце Николаевской улицы, занимая убогую комнату, и вдруг, точно по мановению волшебного жезла, сделался первой гильдии купцом, открыл банкирскую контору на Невском, занимавшую роскошное помещение, и купил себе дом, принадлежавший одному разорившемуся князю, со всей княжеской обстановкой, за полмиллиона чистоганом.

Этим волшебным жезлом оказался тот современный рычаг, который может перевернуть весь мир – деньги.

Чудный звон золота заставлял слетаться, как мух на мед, в открытые двери дома миллионера и чопорных великосветских бар, и искателей приключений, и выдающихся артистов, артисток, писателей, художников, адвокатов...

Даже наружность Корнилия Потаповича Алфимова, когда-то прозванного его клиентами «алхимиком», изменилась до неузнаваемости.

Оголенный череп был прикрыт искусно сделанным парижским париком.

Прекрасные вставные челюсти заменили когда-то торчащие изо рта несколько желтоватых зубов, и гладко выбритое лицо, видимо, с искусно расправленными морщинами, носило далеко не прежнее отталкивающее выражение.

Совершенно круглые, совиные, бегающие, с темнозеленым отливом глаза были прикрыты синими очками, в массивной золотой оправе.

Еще недавно совершенно одинокий, он оказался отцом прелестной девятнадцатилетней дочери, Надежды Корнильевны, и двадцатитрехлетнего сына – Ивана Корнильевича, занимавшегося, под руководством отца в банкирской конторе.

Эта метаморфоза поразила всех знавших ранее Алфимова более всего.

Ничего не было бы удивительного в том, что человек, обладающий большим состоянием, пожелал променять свою прежнюю «собачью жизнь» на жизнь, соответствующую его громадным средствам, тем более, что эта перемена жизни была далеко не безвыгодна для одержимого манией наживы богача, так как банкирское дело и другие финансовые и биржевые операции расширили круг деятельности петербургского «паука», и в его паутину стали попадаться крупные трутни великосветского мира.

Роскошь и блеск, которыми он окружил себя, были таким образом оплачиваемы из увеличившегося дохода, да и кроме того оставался солидный излишек.

Достойно удивления было то обстоятельство, что у считавшегося совершенно одиноким старика вдруг появилось семейство – дочь и сын, как бы свалившиеся с неба.

Злые языки уверяли, что Алфимов в молодости продал свое имя, женившись на содержанке одного московского коммерческого туза, дети которого, родившиеся впоследствии, и были записаны как законные.

Жена его, с которой он виделся только один раз, в день свадьбы, жила в Москве, получила от отца своих детей, умершего около пятнадцати лет тому назад, громадное состояние, которое увеличивала дисконтерством и ростовщицеством.

Имя Евдокии Смарагдовны Алфимовой было не менее, если не более, известно в Москве, среди прожигателей жизни и будущих «тятенькиных наследников», чем имя «паука» Алфимыча в Петербурге.

Года за два до описываемого нами времени Евдокия Смарагдовна умерла, выписав перед смертью своего законного мужа, которого назначила опекуном своих детей, оставив свое состояние, взяв с него клятву, что он окружит сына и дочь роскошью и довольством.

Клятву эту тем охотнее дал Корнилий Потапович, что умирающая женщина с ясностью делового человека доказала ему, что при умелой, даже чисто царской роскоши, последняя будет оплачиваться с излишком клиентами его операций.

Тогда-то и произошла описанная нами метаморфоза с Корнилием Потаповичем...

Гости между тем все прибывали и прибывали.

Среди них появились и знакомые нам: граф Стоцкий, граф Вельский и Неелов.

Граф Вельский состоял уже объявленным женихом Надежды Корнильевны, у которой был миллион чистыми деньгами, оставленный ей ее матерью, не считая состояния отца, который, конечно, не забудет свою дочь в завещании.

Последняя надежда, впрочем, была не из прочных, так как ходили слухи, что старик Алхимов сам хочет жениться, а в его лета была велика вероятность, что появятся еще наследники, да и молодая жена сумеет прибрать к рукам старика-мужа с его капиталами.

Поговаривали между тем, что старик увлекается модной оперной певицей Матильдой Руга, и уже теперь тратит на нее большие деньги.

Она появилась и на описываемом нами балу своего «мецената», как в шутку называла она Корнилия Потаповича.

Последний в это время разговаривал с Нееловым, графом Стоцким и молодым человеком из начинающих адвокатов Сергеем Павловичем Долинским, так, по крайней мере, представил его хозяин двум своим остальным собеседникам.

– Его, несомненно, ожидает блестящая будущность, – добавил Корнилий Потапович, – на этих днях он выступает с первой защитой по громкому делу... Убийство, кажется?

– Нет, – отвечал Сергей Павлович, улыбаясь, – мой первый клиент известный шулер и ловкий мошенник.

Едва заметная судорога перевернула углы губ графа Стоцкого и Неелова.

– И что же, вы надеетесь на благоприятный исход вашей защиты? – спросил сквозь зубы граф Сигизмунд Владиславович после некоторой паузы, пристально глядя на молодого человека.

– Нет, – равнодушно отвечал тот, – это дело проигранное; и я думаю, что мой патрон мне поручил его именно потому, что оно безнадежное. Впрочем, дело касается такого зловредного субъекта, от которого следует освободить общество...

В это время в дверях залы, около которых происходил этот разговор, появилась Матильда Руга.

Граф Стоцкий с презрительной миной повернулся спиной к молодому человеку и вместе с Нееловым и хозяином, взявшим под руку Долинского, пошел к ней навстречу.

– Матильда Францовна... Как поздно... Я уж начинал отчаиваться, – встретил ее Алфимов.

– Я прямо из театра.

Матильда Руга, несмотря на то, что ей далеко перевалило за тридцать, была все еще прекрасна.

В роскошном наряде изящная фигура ее казалась чрезвычайно эффектной.

На нее было устремлено всеобщее внимание.

Она с одинаковой любезностью поздоровалась с хозяином и его тремя спутниками и, фамильярно ударив веером по руке Сергея Павловича Долинского, сказала:

– Господин адвокат, можете предложить мне руку...

Он повел ее по зале.

Корнилий Потапович засеменил сзади. Граф Стоцкий и Неелов остались у дверей.

– Однако, этот юнец – молодой, да из ранних. Он, кажется, хочет воспользоваться или, быть может, и пользуется даром тем, за что наш почтенный хозяин платит большие деньги, – заметил граф Стоцкий.

– Он красив и может иметь успех у женщин, подобных Матильде, бальзаковского возраста.

Матильду Руга между тем окружили и осаждали просьбами что-нибудь спеть.

Долинский подвел ее к роялю и думал, что этим его рыцарские обязанности и кончатся.

Он давно уже искал кого-то глазами.

Но Матильда удержала его.

– Если я уже должна петь, то вы будете мне аккомпанировать.

Он с радостью бы отказался, так как именно в эту минуту увидел то, что искал. Два прекрасных женских глаза остановились на нем.

– Пожалуйста, сыграйте, я так люблю вас слушать, – послышался нежный голос.

Против этой просьбы он не мог устоять и сел за рояль. Матильда стала около него. И едва он взял первые аккорды, как все в зале замерло.

Руга, как всегда, пела превосходно.

Все были очарованы.

Только одна группа людей, среди которых были граф Стоцкий, Неелов, барон Гемпель и несколько других, не удостоивали ее своим вниманием.

Они были, видимо, заняты интересным разговором.

– Я сейчас видел графа Вельского, он шел точно приговоренный к смерти, – вероятно, вчера опять проигрался... – заметил один из стоявших в группе молодых людей.

– Граф не из таких людей, которые сожалеют о проигрыше в какие-нибудь две-три тысячи рублей... А вчера он проиграл именно столько... – возразил барон Гемпель.

– Просто-напросто он влюблен, – объяснил Сигизмунд Владиславович.

– Влюблен, он, этот петербургский Дон-Жуан, и влюблен? – засмеялся Неелов.

– Ну да, почему же нет? А вы разве, Неелов, не влюблены?

– Я?

– Конечно. Или вы думаете, никто не замечает, как вы стараетесь обратить на себя внимание красавицы Селезневой? Нам всем уже давно ясно, что вы до безумия влюблены в Любовь Аркадьевну.

– Нисколько... – протянул Неелов. – Немного внимания и больше ничего.

– Не спорьте, – смеясь заметил барон Гемпель, – думают даже, что вы рассчитываете, главным образом, на ее трехсоттысячное приданое, чтобы поправить свои дела. Вы хотите на ней жениться?

– Что касается меня, да будет вам мое благословение, выбор хороший, – сказал граф Стоцкий. – Я даже могу помочь вам и замолвить словечко ее брату. Он имеет влияние на отца.

– Не смейтесь... – сказал Неелов. – Кроме того, я не нуждаюсь в помощниках, и если я что ищу, то уже добьюсь собственными силами.

– Будут сегодня играть? – спросил барон.

– Не знаю, – ответил равнодушно Сигизмунд Владиславович.

– Если господа кавалеры будут танцевать...

Граф Стоцкий схватил Неелова под руку...

– Смотрите, смотрите, только не умрите от ревности... Вы, видимо, ошиблись, говоря, что он единственно может нравиться только женщинам бальзаковского возраста, а оказывается и молодые девушки...

Пение кончилось, и Долинский шел по залу, направляясь к уютному кабинетику, как бы созданному для интимных бесед, под руку с очаровательной шатенкой.

Это и была Любовь Аркадьевна Селезнева.

Молодой девушке едва минуло восемнадцать лет.

Высокая, стройная, с ослепительным цветом лица и ясными темно-синими глазами, она производила на всех впечатление своей красотой и грацией движений.

– Сядемте здесь, – сказала она, опускаясь на диванчик.

Сергей Павлович сел рядом с молодой девушкой и смотрел на нее с выражением глубокой любви.

Она была, действительно, прекрасна в белом атласном платье, с белой розой в пышных локонах.

Только грустный взгляд ее противоречил праздничному наряду.

Она печально опустила голову на руки.

– Вы хотели говорить со мной? – спросил Долинский.

– Да... Нет... У меня не хватает храбрости... Я не знаю... – смешалась она.

– У вас есть горе, а я думал, вы так счастливы.

– Я, счастлива!?

– Да разве вы несчастны? Вы молоды, хороши собой, богаты, любимы родителями, обожаемы всеми. Чего же вам более!..

– Ах, вы не знаете...

– Так скажите же, моя дорогая.

– Меня хотят выдать замуж за человека, которого я не люблю.

– Этого ваши родители никогда не сделают... Они вас любят.

– Мой отец – да, но моя мать... Вы знаете, она урожденная княжна и ни за что не хочет, чтобы я вышла не за титулованного жениха. Вы друг моего детства, я вам расскажу все.

– В чем же дело? – смотрел он на нее взглядом, в котором светилось беспокойство и обожание.

– Вы знаете... графа Вельского?

– Молодого?..

– Нет... Молодой женится на Наде... Его отец.

– Эту развалину?

– Он хочет жениться на мне...

– Как, этот старый седой греховодник хочет жениться на вас? Да скорее обрушится небо!

– Не правда ли, что ужасно подумать, что я в мои годы должна выйти замуж за человека, который ни по летам, ни по привычкам мне не пара. Несмотря на это, мать покровительствует его ухаживаниям, а отец не противоречит ей.

– Этого не будет! Я этого не допущу! Это значило бы принести вас в жертву на всю жизнь.

– Благодарю вас, дорогой друг, вы снова вернули мне мужество. Не правда ли, вы не оставите меня, когда все другие будут настаивать на моей гибели...

– Никогда! Никогда!

Он крепко сжал ее руки.

Он не мог противостоять очарованию ее влажных глаз, ее улыбке и наклонился к ней совсем близко.

– Люба, умоляю вас. Я люблю вас больше жизни!

Девушка испуганно перебила его.

– Ради Бога, перестаньте... мама...

– Tete-a-tete продолжается немного долго, – заметил между тем барон Гемпель, насмешливо поглядывая на Неелова. – Вас не гложет ревность?

– Пусть понаслаждается бедняга крохами ее милости, – захохотал Владимир Игнатьевич. – Я не завистлив, где я хочу победить, там я знаю, что победа будет на моей стороне, милейший барон.

– Однако, не мешало бы об этом сообщить папаше, – заметил граф Стоцкий. – А так как я ваш союзник, то и берусь разрушить этот tete-a-tete. Жаль, что Сергея здесь нет. Он лучше всех устроил бы это дело.

– Сергей, без сомнения, у своей возлюбленной за городом, – заметил барон Гемпель. – Ему там веселее, да и зачем он вам? Вот и сам папаша.

Богатый петербургский коммерсант Аркадий Семенович Селезнев действительно приближался к их группе.

XXII

Знакомые лица

Граф Стоцкий развязно подошел к Аркадию Семеновичу Селезневу.

– Можно вас поздравить с будущим талантливym и многообещающим зятем?

– Что вы этим хотите сказать?

– Я думал, что вы знаете отношение молодого адвоката к его прелестной клиентке.

– Выражайтесь яснее... Я не мастер отгадывать загадки.

– Разве отношения господина Долинского к вашей дочери или, скорее, их обоюдная склонность друг к другу составляет для вас тайну? – продолжал граф. – В таком случае, посмотрите по направлению к маленькой гостиней... Какая прелестная парочка!..

– А, вот в чем дело! – равнодушно протянул Селезнев, посмотрев по указанному ему направлению. – В этом отношении я совершенно спокоен. Долинский честный человек, я знаю его с детства и очень бы желал иметь его своим зятем. Я был бы очень рад, если бы ему удалось завоевать сердце моей дочери и получить согласие моей жены. Но я боюсь, что Люба уже сделала выбор.

Улыбка Неелова доказывала, что он того же мнения.

– Она уже отказывала не одному жениху, – продолжал старик, – и я желал бы, чтобы ее выбор пал наконец на человека достойного. И, как я уже сказал, человек этот – Долинский.

– Тут ничего не возьмешь! – шепнул Неелов графу Сигизмунду Владиславовичу. – Пойдем лучше к мамаше.

Граф кивнул головой в знак согласия.

– Я только шепну насчет этого Матильде, – тихо сказал он.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.